

О. ГЕНРИ

ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ

РАССКАЗЫ



О. ГЕНРИ
ИЗ ЛЮБВИ
К ИСКУССТВУ

РАССКАЗЫ

*Перевод
с английского*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

И (Амер)
ГЗ4

О. Henry

ОФОРМЛЕНИЕ
ХУДОЖНИКА
С. КОВАЛЕНКОВА

Г 4703000000-414
028(01)-84 КБ-27-25-84

© Оформление. Издательство
«Художественная литература», 1984 г.

ДАРЫ ВОЛХВОВ

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядны самый дом. Меблированная квартира за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдать ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью «М-р Джеймс Диллингем Юнг». «Диллингем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократить ли мы в скромное и неприятзательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» — и нежные объятия миссис

Джеймс Диллингем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошла в пуховой по шекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкое, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду,

другое — волосы Деллы. Если бы царница Саваска проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струн каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестящими в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «*М-те Sophronie. Всевозможные изделия из волос*». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпку, надо посмотреть товар.

Сиова заструндась каштановый водопад. — Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу. — Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинным своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромищность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет понтересоваться, который час. Как ни великолепы были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А

это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполнительский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локоначками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня было только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, и раскладная скворода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никак не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледила. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торпидно зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!

Дверь открылась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учувший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одного из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережизла бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отратут. Ты ведь не серднишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приговорила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.
— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной инаотичностью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковое, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увы! — чисто по-женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяйни дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с сделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого — Делла знала это, — и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вождельный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покада нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день посмотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам нечто не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ

Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжела.

Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием — лишь немногим древнее, чем Великая китайская стена.

Джо Лэрреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя, в большой спешке проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лэрреби исполнилось двадцать лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.

Диля Крузер жила на Юге, в окружении соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепианной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки «на Север» с целью «завершения музыкального образования». Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли... Впрочем, об этом мы и поведем рассказ.

Джо и Диля встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светении, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта,

картинах, обоях, Вальдтейфеле, Шопене и Улонге.

Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбили друг друга — как вам больше по вкусу — и, не теряя времени, вступили в брак, ибо (смотри выше), когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Мистер и миссис Лэрреби сняли квартиру и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ла диезу фортепьянной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а Искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат: продай именно твое и раздай нищим... а еще лучше — отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и своим Искусством.

Обитатели квартир, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска — трюмо, письменный стол — комнату для гостей, а умывальный — пианино! И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас — не беда! Лишь бы вы со своей Дилией уместились между ними. Ну, а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через Золотые ворота, повесить шляпу на мис Гаттерас, платье — на мис Горы и выйти через Лабрадор!

Джо обучался живописи у самого великого Маэстри. Вы, без сомнения, слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снижало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока — вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепьянных клавиш.

Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда... но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны Музыки, затем пресытиться ею и приобresti обыкновение при виде непроданных мест в партере: или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду.

Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке: горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков; уютные обеды вдвоем и легкие, необременительные завтраки; обмен честолюбивыми мечтами — причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого; взаимная готовность помочь и ободрить, и —

да простят мне непритязательность моих вкусов — бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну.

Однако дни шли, и высоко поднятое знамя Искусства бесцельно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и герра Розенштока. Но, когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами.

День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.

— Джо, дорогой мой, я получила урок! — торжествующе объявила она. — И, знаешь, такие милые люди! Генерал... генерал А. Б. Пинки с дочкой. У них свой дом на Семьдесят первой улице. Роскошный дом, Джо! Поглядел бы ты на их подъезд! Византийский стиль — так, кажется, ты это называешь. А комнаты! Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного!

Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей восемнадцать лет. Я буду заниматься с ней три раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок пять долларов! Это же чудно! Еще дватри таких урока, и я возобновлю занятия с герром Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин.

— Тебе легко говорить, Дили, — возразил Джо, вооружаясь столовым ножом и топоришком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. — А мне какво? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я — беззаботно витать в сферах высокого Искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенуто Челлини! Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом доллар-другой.

Дилия подошла и повисла у него на шее.

— Джо, любимый мой, ну какой ты глупый! Ты не должен бросать живопись. Ты пойми — ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним... а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстанусь с моей музыкой. А на пятнадцать долларов в неделю мы будем жить, как миллионеры. И думать не смею бросать мистера Маэстри.

— Ладно, — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. — Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не Искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы, — изрекла Дилия.

— Маэстри похвалил небо на том пейзаже, что я писал в парке, — сообщил Джо. —

А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идноту с деньгами.

— Непременно купят,— нежно проворковала Дилля.— А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкини и эту телючую груднику.

Всю следующую неделю чета Лэрреби рано садилась завтракать. Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в семь часов Дилля провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями.

Искусство — требовательная возлюбленная. Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера.

В субботу Дилля, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивостн, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький (восемь на десять дюймов) столик в маленькой (восемь на десять футов) гостиной.

— Клементина удручает меня порой,— сказала она чуть-чуть устало.— Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходятся повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкини — вот чудесный старик! Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока — он ведь одиокий, двоец — и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну, как шестнадцатые и тридцать вторые?» — спрашивает он всегда. — Идут на лад?»

Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной. А какие мягкие шерстяные портьеры! Клементина немножко похаживает. Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней — она такая ласковая и кроткая и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкини был одно время посланником в Болнви.

Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала десять долларов, потом пять, потом еще два и еще один — четыре самые что ни на есть настоящие банкноты — и положил их рядом с заработком своей жены.

— Продай акварель с обелском одному субъекту из Пеорни, — преподнес он ошеломляющее известие.

— Ты шутишь, Джо,— сказала Дилля.— Не может быть, чтобы из Пеорни!

— Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видела его, Дилля. Толстый, в шерстяном каше и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелск и даже заказал мне еще одну картину — маслом, в вид на Лэкуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох, уж эти мне уроки музыки! Ну ладно, ладно, они, конечно, неотделимы от Искусства.

— Я так рада, что ты занимаешься своим делом, — горячо сказала Дилля.— Тебя ждет

успех, дорогой. Тридцать три доллара! Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин.

— И филе миньон с шампньонами,— добавил Джо.— А ты не знаешь, где вилка для маслин?

В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил восемнадцать долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное — по-видимому, толстый слой масляной краски.

А через полчаса появилась и Дилля. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.

— Что случилось, Дилля? — спросил Джо, целуя жену. Дилля рассмеялась, но как-то не очень весело.

— Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валлийски,— сказала она.— Вообще это девушка со странностями. В пять часов вечера — гренки по-валлийски!

Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой, можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем — она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас как больно было! Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкини... ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то — кажется, истопника — в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уж не так больно.

— А это что у тебя тут? — спросил Джо, нежно приподняв ее забинтованную руку и осторожно потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта.

— Эта такая мягкая штука, на которую кладут мазь,— сказала Дилля.— Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд? — Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги.

— Продал ли я этюд?! Спроси об этом нашего друга из Пеорни. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дилля?

— Часов в пять, должно быть,— жалобно сказала Дилля.— Утюг... то есть сыр снял с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкини, Джо, когда он...

— Поди-ка сюда, Дилля,— сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи.

— Чем это ты занималась последние две недели? — спросил он.

Дилля храбро посмотрела мужу в глаза — взглядом, исполненным любви и упрямства, — и забормotala что-то насчет генерала Пинкини потом опустила голову, и правда вылилась наружу в бурном потоке слез.

— Я не могла найти уроков,— призналась Дилля.— И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую

прачечную — знаешь, на Двадцать четвертой улице — гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это — насчет генерала Пинкин и Клементины, — как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердись, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пеорн.

— Он, между прочим, не из Пеории, — с расстановкой проговорил Джо.

— Ну, это уже не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста... нет, поцелуй меня сначала... скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?

— Я и не догадывался... до последней минуты, — сказал Джо. — И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной наверх, в прачечную, лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной.

— Так, значит, ты не...

— Мой покупатель из Пеории — так же, как и твой генерал Пинкин, — всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой.

Оба рассмеялись, и Джо начал:

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы...

Но Дилия, не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой.

— Нет, — сказала она. — Просто: когда любишь...

ФАРАОН И ХОРАЛ

Сопн заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небо, когда станущины, не имеющие котников манти, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сопн начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу.

Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза; этот старик добрый к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы «Под открытым небом», чтобы постылять ее пригрозившись.

Сопн понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода. Поэтому он заерзал на своей скамейке.

Зимние планы Сопн не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заклю-

чения на Острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, в приятной компании, вдаль от посягательств Борея и фараонов — для Сопн это был поистине предел желаний.

Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на Острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопн делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на Остров. И теперь время для этого наступило.

Прошлой ночью три воскресные газеты, которые он умело распределил — одну под пиджак, другой обернул ноги, третьей закутал колени, — не защитили его от холода: он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что Остров рисовался ему желанным и вполне своевременным приютом. Сопн презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопн дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена.

Решив, таким образом, отбыть на зимний сезон на Остров, Сопн немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегла через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала и затем объявляете себя неплатежеспособным. Вас без всякого скандала передают в руки полицмена. Сговорчивый судья довершает доброе дело.

Сопн встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредоточивается все лучшее, что может дать виноградна лоза, шелковичный червь и протоплазма.

Сопн верил в себя — от нижней пуговницы жилета и выше. Он был часто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красненький черный галстук бабочкой ему подарил в День Благодарения дама-миссонерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столка, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Сопн, и к ней бутылка шабли. Затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так

велик; чтобы побудить администрацию кафе к особо жестоким актам мщения, а он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое земное убежище.

Но как только Сопи переступил порог ресторана, наметанный глаз метрдотеля сразу же приметил его потерянные штаны и стоптанные ботинки. Сильные, ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив, таким образом, утку от уготованной ей печальной судьбы.

Сопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на Остров не будет усыян розами. Что делать! Надо придумать другой способ проникнуть в рай.

На углу Шестой авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Сопи схватил булыжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ, впереди всех мчался полисмен. Сопи стоял, заложив руки в карманы, и улыбался навстречу блестящим медным пуговичкам.

— Кто это сделал? — живо осведомился полисмен.

— А вы не думаете, что тут замешан я? — спросил Сопи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу.

Полисмен не пожелал принять Сопи даже как гипотезу. Людей, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Сопи с омерзением в душе побрел дальше... Вторая неудача.

На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и толще кошелки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы — жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и проглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем повелал ресторанному слуге, что он, Сопи, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего.

— Ну а теперь, — сказал Сопи, — живее! Позовите фараона. Будьте любезны, пошевеливайтесь: не заставляйте джентльмена ждать.

— Обойдетесь без фараонов! — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вышенки в коктейле. — Эй, Кон, подсоби!

Два официанта аккуратно уложили Сопи левым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и смистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой. Остров — далеким миражем. Полисмен, стоявший за два дома, у аптеки, засмеялся и пошел дальше.

Пять кварталов мнявал Сопи, прежде чем набрался мужества, чтобы снова попытаться

счастья. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья из чернильных, а в двух шагах от нее, опершись о пожарный кран, красовался здоровенный, сурового вида полсмен.

Сопи решил сыграть роль презренного и всем ненавистного уличного ловеласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ошутит увеселенную руку полсмена на своем плече и зима на уютном острове будет ему обеспечена.

Сопи поправил галстук — подарок дамы-миссонерши, вытащил на свет божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу набекрень и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, отсалютовал, — словом нагло пустил в ход все классические приемы уличного пристава. Уголок глаза Сопи видел, что полсмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи пошел за ней следом, нахально стал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал:

— Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся?

Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и Сопи был уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Сопи и, протянув руку, схватила его за рукав.

— С удовольствием, Майк! — сказала она весело. — Пьянком угостишь? Я бы и раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает.

Молодая женщина обвилась вокруг Сопи, как плоть вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. Полсменливо, Сопи был осужден наслаждаться свободой.

На ближайшей улице он стянул свою спутницу и пустил ее наутек. Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Сопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и, дойдя до полсмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку «хулиганства в публичном месте».

Во всю мочь своего охрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся — всяческими способами возмущал спокойствие.

Полисмен pokrутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему:

— Это фельский студент. Он сегодня празднует свою победу над футбольной командой

Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их.

Безутешный Сопи прекратил свой никчемный феерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрма на Острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок: ветер прошивал его насквозь.

В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свой шелковый зонтик он оставил у входа. Сопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним.

— Это мой зонтик,— сказал он строго.

— Неужели? — нагло ухмыльнулся Сопи, прибавив к мелкой краже оскорбление.— Почему же вы не позовете полисмена? Да, я взял ваш зонтик. Так позовите фараона! Вот он стоит на углу.

Хозяин зонтика замедлил шаг. Сопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством.

— Разумеется,— сказал человек с сигарой,— конечно... вы... словом, бывают такие ошибки... я... если это ваш зонтик... надеюсь, вы извините меня... я захватил его сегодня утром в ресторане... если вы признали его за свой... что же... я надеюсь, вы...

— Конечно, это мой зонтик,— сердито сказал Сопи.

Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном мантио: нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай.

Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шляпах и с дубинками. Он так хотел полатиться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу римского.

Накопец Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мэдисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке.

Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь с остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Сопи доносились сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки.

Взошла луна, безмятежная, светлая; экипажей и прохожих было немного; под карнизом сонно чирикали воробьи — можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше — в те дни, когда в его жизни

были такие вещи, как матери, розы, "смелые планы, друзья и чистые мысли, и чистые ворончики.

Под влиянием музыки, лившейся из старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь.

И сердце его забилося в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой-судьбой. Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло, он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один механик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он...

Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена.

— Что вы тут делаете? — спросил полисмен.

— Ничего,— ответил Сопи.

— Тогда пойдем,— сказал полисмен.

— На Остров, три месяца,— постановил на следующее утро судья.

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАССКАЗ

Мы теперь не стоим и не посыпаям главу пеплом при упоминании о гегемонии огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что бог — это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете,— это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха.

Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попугая. Ни Морфея, ни попугая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придраться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет синовидение, за что приношу свои искренние извинения попугаам, кругозор которых уж очень ограничен.

Я видел сон, столь далекий от скептических настроений наших дней, что в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория Страшного суда.

Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади; но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и непохоже было, чтобы нас выдали им на поруки.

Крылатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд.

— Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен.

— А кто они? — ответил я вопросом.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые...

Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа.

Дэлси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный перец, или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на руки шесть долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет господь бог... то есть, вноват, ваше преподобие, Первичная Энергия, так, кажется? Ну, значит в главной книге Первичной Энергии.

Весь первый год, что Дэлси работала в магазине, ей платили пять долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо, вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. Шесть долларов более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.

Однажды, в шесть часов вечера, прикалывшая шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, Дэлси сказала своей сослуживнице Сэди — той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем:

— Знаешь, Сэди, я сегодня сговорилась пойти обедать со Свинкой.

— Не может быть! — воскликнула Сэди с восхищением. — Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места. Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно проведешь время, Дэлси.

Дэлси спешила домой. Глаза ее блеснули. На щеках горел румянец, возмущавший близкий рассвет жизни, настоящей жизни. Была пятница; из недельной получки у Дэлси оставалось пятьдесят центов.

Улицы, как всегда в этот час, были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек; они прилетали сюда за десятками, за сотнями миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. Хорошо одетые мужчины — лица их напоми-

нали те, что старые матросы так искусно вырезают из вышивных косточек, — оборачивались и глядели на Дэлси, которая спешила вперед, не уставшая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно-белые, с тяжелым запахом лепестки.

Дэлси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги были, собственно говоря, предназначены на другое: пятнадцать центов на ужин, десять — на завтрак и десять — на обед. Еще десять центов Дэлси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять — промотать на лакричные леденцы, от которых, когда заснешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий!

Дэлси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете.

Дэлси поднялась в свою комнату — третий этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые говорят нам, что самое твердое из всех тел — алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удается проковырять, так что условимся называть его стойким.

Итак, Дэлси зажгла газ. При его свете сиюю в четверть свечки мы осмотрим комнату.

Кровать, стол, комод, умывальник, стул — в этом была повинна хозяйка. Остальное все принадлежало Дэлси. На комод помещались ее сокровища: фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэди, календарь — реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюде и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой.

Прислоненные к кривому зеркалу стояли портреты генерала Киченера, Уильяма Мэдлуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним — ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Дэлси не шел; впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканья о плагиатах не нарушали ее покоя; ни один критик не шурился презрительно на ее малолетнего энтомолога.

Свинка должен был зайти за ней в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отеремся и немного посплетничаем.

За комнату Дэлси платит два доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов; она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует — ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли; это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Дием Дэлси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета — покажите мне жителя Нью-Йорка, который обошелся бы без газеты! — стоит шесть центов в неделю и две воскресные газеты — одна ради брачных объявлений, другая для чтения — десять центов. Итого — четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться, и...

Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи иголки; но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе при мысли о том, что в жизни Дэлси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписанных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на Коин-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год.

О Свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтениое семейство свиной легко незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир: у Свинки была душа крысы, повадки летучей мыши и великодушные кошки. Он одевался шеголем и был знатоком по части недоодевания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастилой. Он вечю рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводившие на прогулку собак, и те смотрят на него с презрением. Это — определенный тип: хватит о нем; мое перо не годится для описания ему подобных: я не плотник.

Без десяти семь Дэлси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения (даже от обеда) были ей очень к лицу.

На минуту Дэлси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг взглянуть в новый, сверкающий красками мир.

Девушки говорили, что Свинка — «мст». Значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведасть таких блюд, от которых у девушек

скулы сводит, когда они пытаются описать их подругам. Без сомнения, он и еще когда-нибудь пригласит ее.

В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов... постояте, постояте... нет, на это уйдет несколько лет. Но на Седьмой авеню есть магазин подержанных вещей, и там...

Кто-то постучал в дверь. Дэлси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и старалась уловить нисом, не пахнет ли стряпней на украденном газе.

— Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен, — сказала она. — Фамилия Унгинс.

Под таким названием Свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.

Дэлси повернулась к комоду, чтобы достать ивовый платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусила нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя — принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение. Прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном мелахолическом лице, генерал Кичеиер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами.

Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке.

— Скажите ему, что я не пойду, — проговорила она тупо. — Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу.

Проводив хозяйку и заперев дверь, Дэлси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смаялось, и проплакала десять минут. Генерал Кичеиер был ее единственный друг. В ее глазах он был идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были, как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя ивниной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет постукивать о ботфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу. Но нет! Она знала, что генерал Кичеиер далеко, в Японии, ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил Свинку. Да, на этот вечер.

Пролапав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из «Самми». Потом серьезно занялась красным пятишом на своем носу. А потом придвинула стул к расстланному столу и стала гадать на картах.

— Вот гадость, вот иаглость! — сказала

она вслух. — Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать.

В десять часов Дэлси достала из сумочки жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Киченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы флинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки.

— Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Дэлси, — и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой горды, если бы вам пришлось жить на шесть долларов в неделю.

Дэлси наглубила генералу Киченеру, что не предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведения которого не одобряла.

В половине десятого Дэлси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно — ложиться спать, обменявшись на прощанье взглядом с генералом Киченером, Уильямом Мэдлуном, герцогиней Мальборо и Бенвенуто Челлини.

Рассказ собственно так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда Свинка опять пригласит Дэлси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Киченеру случится отвернуться: и тогда...

Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида, и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании.

— А кто они? — спросил я.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им пять или шесть долларов в неделю. Вы из их шайки?

— Нет, ваше бессмертие, — ответил я. — Я всего-навсего поджог приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медяками.

РОМАН БИРЖЕВОГО МАКЛера

Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Макссуэла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторый интерес и удивление, когда в половине десятого утра Макссуэл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм.

Молодая стенографистка служила у Макссуэла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографин. Она презрела пышность

прически помпадур. Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящное и скромно облегающее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким, застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания.

Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Макссуэла — достаточно близко, чтобы он мог ее заметить.

Человек, сдвинувший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер — машина, приводимая в движение колесиками и пружинами.

— Да. Ну? В чем дело? — резко спросил Макссуэл. Вскрытая почта лежала на его столе, как суроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно.

— Ничего, — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой.

— Мистер Питчер, — сказала она доверенному клерку, — мистер Макссуэл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки?

— Говорил, — ответил Питчер, — он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. (Сейчас десять сорок пять, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась.

— Тогда я буду работать, как всегда, — сказала молодая женщина, — пока кто-нибудь не заменит меня.

И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место.

Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о «полном часе славной жизни». У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках.

А сегодня у Гарви Макссуэла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рычками разматывать свою ленту, телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер — кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбежали и выбегали посылные с телеграммами. Клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления.

На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов, и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Макссуэл отставил свой стул к стене и заключал сделки, тапая на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью арлекина.

Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахном из бархата и страусовых перьев, сак из кошки «под котик» и ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающееся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление.

— Из стенографического бюро, насчет места, — сказал Питчер.

Максуэл сделал полуоборот; руки его были полны бумаг и телеграфной ленты.

— Какого места? — спросил он, нахмурившись.

— Места стенографистки, — сказал Питчер. — Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку.

— Вы сходите с ума, Питчер, — сказал Макссуэл. — Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро, Питчер, чтобы больше не присылали, и никого больше ко мне не водите.

Серебряное сердечко в негодовании покинуло контуру, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что «старик» с каждым днем делается рассеянее и забывчивее.

Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтал и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Макссуэла, вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Макссуэла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и сильная машина; слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательство, займы и фонды, закладные и ссуды — это был мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы.

Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье.

Максуэл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм; за правым ухом у него торчала вечная ручка, расстрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая швейцариха-весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла.

И через окно в комнату забрел, может быть

по ошибке, тонкий, сладкий аромат сирени и на секунду приковал маклера к месту. Ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только ее.

Этот аромат принес ее и поставил перед ним — видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съехался в крошечное пятнышко. А она была в соседней комнате, в двадцати шагах.

— Клянусь честью, я это сделаю, — сказал маклер вполголоса. — Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я давно этого не сделал.

Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет «донести», пока его не экзекутировали. Он ринулся к ее столу.

Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Макссуэл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо.

— Мисс Лесли, — начал он торопливо, — у меня ровно минута времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами, как полагается, но я, право же, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста, — эти понижатели вышибают последний дух из «Тихоокеанских».

— Что вы говорите! — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Вы меня не поняли? — досадливо спросил Макссуэл. — Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать и вот уличил минутку, когда там, в конторе, маленькая передышка. Ну вот, меня опять зовут к телефону. Скажите, чтобы подождали, Питчер. Так как же, мисс Лесли?

Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее удивленных глаз хлынули слезы, а потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла маклера за шею.

— Я поняла, — сказала она мягко. — Это биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Гарви? Мы ведь обвенчались вчера в восемь часов вечера в Маленькой церкви за углом.

ДЕБЮТ ТИЛЬДИ

Если вы не знаете «Закусочной и семейного ресторана» Богля, вы много потеряли. Потому что если вы — один из тех счастливых, которым по карману дорогие обеды, вам должно быть интересно узнать, как уничтожает съестные припасы другая половина человечества. Если же вы принадлежите к той половине, для которой счет, поданный лакеем, — событие, вы должны узнать Богля, ибо там вы получите за свои деньги то, что вам полагается (по крайней мере по количеству).

Ресторан Богля расположен в самом центре буржуазного квартала, на бульваре Брауна-Джонса-Робинсона — на Восьмой авеню. В зале два ряда столиков, по шести в каждом ряду. На каждом столике стоит судок с приправами. Из переноски вы можете вытрясти облачко чего-то меланхолического и безвкусного, как вулканическая пыль. Из солонки не сыплетс ничего. Даже человек, способный выдавить красный сок из белой репы, потерпел бы поражение, вздумай он добыть хоть крошку соли из боглевской солонки. Кроме того, на каждом столе имеется баночка подделок под сверхострый соус, изготавливаемый «по рецепту одного индийского раджи».

За кассой сидит Богль, холодный, суровый, медлительный, грозный, и принимает от вас деньги. Выглядывая из-за горы зубочисток, он дает вам сдачу, накалывает ваш счет, отрывисто, как жаба, бросает вам замечание насчет погоды. Но мой вам совет — ограничьтесь подтверждением его метеорологических пророчеств. Ведь вы — не знакомый Богля; вы случайный, кормящийся у него посетитель; вы можете больше не встретиться с ним до того дня, когда труба Гавриила призвет вас на последний обед. Поэтому берите вашу сдачу и катитесь куда хотите, хоть к черту. Такова теория Богля.

Посетителей Богля обслуживали две официантки и Голос. Одну из девушек звали Эйлин. Она была высокого роста, красивая, живая, приветливая и мастерица позубоскалить. Ее фамилия? Фамилии у Богля считались такой же излишней роскошью, как полосательница для рук.

Вторую официантку звали Тильди. Почему обязательно Матильда? Слушайте внимательно: Тильди, Тильди. Тильди была маленькая, толстенная, некрасивая и прилагала слишком много усилий, чтобы всем угодить, чтобы всем угодить. Перечитайте последнюю фразу три раза, и вы увидите, что в ней есть смысл.

Голос был невидимкой. Он исходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был непросвещенный Голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками.

Вы позволите мне еще раз повторить, что Эйлин была красива? Если бы она надела двухсотдолларовое платье, и прошлась бы в нем на пасхальной выставке нарядов, и вы увидели бы ее, вы сами потопорились бы сказать это.

Клиенты Богля были ее рабами. Она умела обслуживать сразу шесть столов. Торопившиеся сдерживали свое нетерпение, радуясь случаю полюбоваться ее быстрой походкой и грациозной фигурой. Насытившиеся заказывали еще что-нибудь, чтобы подольше побыть в сиянии ее улыбки. Каждый мужчина, — а женщины заглядывали к Боглю редко, — старался произвести на нее впечатление.

Эйлин умела перебрасываться шутками с десятью клиентами одновременно. Каждая ее

улыбка, как дробинки из дробовика, попадала сразу в несколько сердец. И в это же самое время она умудрялась проявлять чудеса ловкости и проворства, доставляя на столы свинину с фасолью, рагу, яичницы, колбасу с пшеничным соусом и всякие прочие яства в сотейниках и на сковородках, в стоячем и лежащем положении. Все эти пиришества, флирт и блеск остроумия превращали ресторан Богля в своего рода салон, в котором Эйлин играла роль мадам Рекамье.

Если даже случайные посетители бывали очарованы воспитательной Эйлин, то что же делалось с завсегдатаями Богля? Они обожали ее. Они соперничали между собою. Эйлин могла бы весело проводить время хоть каждый вечер. По крайней мере два раза в неделю кто-нибудь вошел в театр или на танцы. Один толстый джентльмен, которого они с Тильди прозвали между собой «Боровом», подарил ей колечко с бирюзой. Другой, получивший кличку «нахал» и служивший в ремонтной мастерской, хотел подарить ей пуделя, как только его брат-возник получит подряд на Девятой улице. А тот, который всегда заказывал свиную грудинку со шпинатом и говорил, что он биржевой маклер, пригласил ее на «Парсифаля».

— Я не знаю, где этот «Парсифаль» и сколько туда езды, — заметила Эйлин, рассказывая об этом Тильди, — но я не сделаю ни стежка на моем дорожном костюме до тех пор, пока обручальное кольцо не будет у меня на пальце. Правда я или нет?

А Тильди...

В пропалитном парами, болтовней и запахом капусты заведении Богля разыгрывалась настоящая трагедия. За кубышкой Тильди, с ее носом-пуговой, волосами цвета соломки и веснушчатым лицом, никогда никто не ухаживал. Ни один мужчина не провожал ее глазами, когда она бегала по ресторану, — разве что голод заставит их жадно высматривать заказанное блюдо. Никто не заигрывал с нею, не вызывал ее на веселый турнир остроумия. Никто не подтрунивал над ней по утрам, как над Эйлин, не говорил ей, скрывая под насмешкой зависть к неведомому счастью, что она, видно, поздно ночью пришла вчера домой, что так медленно подает сегодня. Никто никогда не дарил ей колец с бирюзой и не приглашал ее на таинственный, далекий «Парсифаль».

Тильди была хорошей работницей, и мужчины терпели ее. Те, что сидели за ее столиками, изъяснялись с ней короткими цитатами из меню, а затем уже другим, медовым голосом заговаривали с красивой Эйлин. Они ерзали на стульях и старались из-за приближающейся фигуры Тильди увидеть Эйлин, чтобы красота ее превратила их яичницу с ветчиной в амброзию.

И Тильди довольствовалась своей ролью серенькой труженицы, лишь бы на долю Эйлин доставались поклонение и комплименты. Нос пуговой питал верноподданические чувства к короткому греческому носику. Она была другом Эйлин, и она радовалась, видя, как Эйлин власт-

вует над сердцами и отвлекает внимание мужчин от дымящегося пирога и лимонных пирожных. Но глубоко под веснушчатой кожей и соломенными волосами у самых некрасивых из нас таится мечта о принце или принцессе, которые придут только для нас одних.

Однажды утром Эйлин пришла на работу с подобранным глазом, и Тильди излила на нее потоки сочувствия, способные вылечить даже трахому.

— Нахал какой-то, — объяснила Эйлин. — Вчера вечером, когда я возвращалась домой. Пристал ко мне на Двадцать третьей. Лезет, да и только. Ну, я его отшила, и он отстал. Но оказалось, что он все время шел за мной. На Восемнадцатой он опять начал приставать. Я как размахнулась да как аху его по щеке! Тут он мне этот фонарь и наставил. Правда, Тиль, у меня ужасный вид? Мне так неприятно, что мистер Никольсон увидит, когда придет в десять часов пить чай с гренками.

Тильди слушала, и сердце у нее замирало от восторга. Ни один мужчина никогда не пытался приставать к ней. Она была в безопасности на улице в любой час дня и ночи. Какое это, должно быть, блаженство, когда мужчина преследует тебя и из любви ставит тебе фонарь под глазом!

Среди посетителей Богля был молодой человек по имени Сидерс, работавший в прачечной. Мистер Сидерс был худ и белобрыс, и казалось, что его только что хорошо высушили и накрахмалили. Он был слишком застенчив, чтобы добиваться внимания Эйлин; поэтому он обычно садился за один из столиков Тильди и обрекал себя на молчание и вареную рыбу.

Однажды, когда мистер Сидерс пришел обедать, от него пахло пивом. В ресторане было только два-три посетителя. Покоившаяся вареной рыбой, мистер Сидерс встал, обнял Тильди за талию, громко и бесцеремонно поцеловал ее, вышел на улицу, показал кукиш своей прачечной и отправился в пассаж опускать монетки в щели автоматов.

Несколько секунд Тильди стояла окаменев. Потом до сознания ее дошло, что Эйлин грозит ей пальцем и говорит:

— Ай да Тиль, ай да хитрюга! На что это похоже! Этак ты отобьешь у меня всех моих поклонников. Придется мне следить за тобой, моя милая.

И еще одна мысль забрезжила в сознании Тильди. В мгновение ока из безнадежной, смиренной поклонницы она превратилась в такую же дочь Евы, сестру всемогущей Эйлин. Она сама стала теперь Цирцеей, целью для стрел Купидона, сабиняницей, которая должна остерегаться, когда римляне пируют. Мужчина нашел ее талию привлекательной и ее губы желанными. Этот стремительный, опаленный любовью Сидерс, казалось, совершил над ней то чудо, которое совершается в прачечной за особую плату. Сияя грубую дерюгу ее непривлекательности, он в один миг выстирал ее, просушил, накрахмалил, выгладил и вернул ей в виде тончайшего

батиста — облачения, достойного самой Венеры.

Веснушки Тильди потонули в огне румянца, Цирцея и Психея вместе выглянули из ее загоревшихся глаз. Ведь даже Эйлин никто не обнимал и не целовал в ресторане у всех на глазах.

Тильди была не в силах хранить эту восхитительную тайну. Воспользовавшись коротким затишьем, она как бы случайно оставилась возле конторки Богля. Глаза ее сияли; она очень старалась, чтобы в словах ее не прозвучала гордость и похвальба.

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня, — сказала она. — Он обхватил меня за талию и поцеловал.

— Вот как, — сказал Богль, приподняв забралое своей деловитости. — С будущей недели вы будете получать на доллар больше.

Во время обеда Тильди, подавая знакомым посетителям, объявляла каждому из них со скромностью человека, достоинства которого не нуждаются в преувеличении:

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня в ресторане. Он обнял меня за талию и поцеловал.

Обедающие принимали эту новость различно — одни выражали недоверие; другие поздравляли ее; третьи забросали ее шуточками, которые до сих пор предназначались только для Эйлин. И сердце Тильди ширилось от счастья — наконец-то на краю однообразной серой равнины, по которой она так долго блуждала, показались башни романтики.

Два дня мистер Сидерс не появлялся. За это время Тильди прочно укрепились на позиции интересной женщины. Она накупила лент, сделала себе такую же прическу, как у Эйлин, и затянула талию на два дюйма туже. Ей стало неловко и страшно и сладко от мысли, что мистер Сидерс может ворваться в ресторан и застрелить ее из пистолета. Вероятно, он любит ее безумно, а эти страстные влюбленные всегда бешено ревнивы. Даже в Эйлин не стреляли из пистолета. И Тильди решила, что лучше ему не стрелять; она ведь всегда была верным другом Эйлин и не хотела затмить ее славу.

На третий день в четыре часа мистер Сидерс пришел. За столиками не было ни души. В гостиной ресторана Тильди накладывала в баночки горчицу, а Эйлин резала пирог. Мистер Сидерс подошел к девушкам.

Тильди подняла глаза и увидела его. У нее захватило дыхание, и она прижала к груди ложку, которой накладывала горчицу. В волосах у нее был красивый бант; на шее — эмблема Венеры с Восьмой авеню — ожерелье из голубых бус с символическим серебряным сердечком.

Мистер Сидерс был красен и смущен. Он опустил одну руку в карман брюк, а другую — в свежий пирог с тыквой.

— Мисс Тильди, — сказал он, — я должен извиниться за то, что позволил себе в тот вечер. Правду сказать, я тогда здорово выпил,

а то никогда не сделал бы этого. Я бы никогда ни с одной женщиной не поступил так, если бы был трезвый. Я надеюсь, мисс Тильди, что вы примете мое извинение и поверите, что я не сделал бы этого, если бы понимал, что делаю, и не был бы пьян.

Выразив столь деликатно свое раскаяние, мистер Сидерс дал задний ход и вышел из ресторана, чувствуя, что вина его заглажена.

Но за спасительной ширмой Тильди упала головой на стол, среди кусочков масла и кофейных чашек, и плакала навзрыд — плакала и возвращалась на однообразную серую равнину, по которой блуждают такие, как она, — с носом-пуговкой и волосами цвета соломки. Она сорвала свой красный бант и бросила его на пол. Сидерса она глубоко презирала; она приняла его поцелуй за поцелуй принца, который нашел дорогу в заколдованное царство сна, и привел в движение уснувшие часы, и заставил суетиться сонных пажей. Но поцелуй был пьяный и неумышленный; сонное царство не шелохнулось, услышав ложную тревогу; ей суждено навеки остаться спящей красавицей.

Однако не все было потеряно. Рука Эйлин обняла ее, и красная рука Тильди шарила по столу среди обедков, пока не почувствовала теплого пожатия друга.

— Не огорчайся, Тиль, — сказала Эйлин, — мне вполне понятная, в чем дело. — Не стоит того этот Сидерс. Не джентльмен, а белоброящая защипка для белья, вот он что такое. Будь он джентльменом, разве он стал бы просить извинения?

ГОРЯЩИЙ СВЕТИЛЬНИК

Конечно, у этой проблемы есть две стороны. Рассмотрим вторую. Нередко приходится слышать о «продавщицах». Но их не существует. Есть девушки, которые работают в магазинах. Это профессия. Однако с какой стати название профессии превращать в определение человека? Будем справедливы. Ведь мы не именуем «невестами» всех девушек, живущих на Пятой авеню.

Лу и Нэнси были подругами. Они приехали в Нью-Йорк искать работы, потому что родители не могли их прокормить. Нэнси было девятнадцать лет. Лу — двадцать. Это были хорошенькие трудолюбивые девушки из провинции, не мечтавшие о сценической карьере.

Ангел-хранитель привел их в дешевый и приличный пансион. Обе нашли место и начали самостоятельную жизнь. Они остались подругами. Разрешите теперь, по прошествии шести месяцев, познакомить вас: Назойливый Читатель — мои добрые друзья мисс Нэнси и мисс Лу. Раскланываясь, обратите внимание — только незаметно, — как они одеты. Но только

незаметию! Они так же не любят, чтобы на них глазели, как дама в ложе на скачках.

Лу работает сдельно гладильщицей в ручной прачечной. Пурпурное платье плохо сидит на ней, перо на шляпе на четыре дюйма длиннее, чем следует, но ее горнистаевая муфта и горжетка стоят двадцать пять долларов, а к концу сезона собраться этих горнистаев будут красоваться в витринах, снабженных ярлыками «7 долларов 98 центов». У нее розовые щеки и блестящие голубые глаза. По всему видно, что она вполне довольна жизнью.

Нэнси вы назовете продавщицей — по привычке. Такого типа не существует. Но поскольку пресыщенное поколение повсюду ищет тип, ее можно назвать «типичной продавщицей». У нее высокая прическа помладу и коррективная английская блузка. Юбка ее безупречного покроя, хотя и из дешевой материи. Нэнси не кутается в меха от резкого весеннего ветра, но свой короткий, сукоинный жакет она носит с таким шиком, как будто это каракулевое манто. Ее лицо, ее глаза, о безжалостный охотник за типами, хранят выражение, типичное для продавщицы: безмолвное, презрительное негодование поправленной женственности, горькое обещание грядущей мести. Это выражение не исчезает, даже когда она весело смеется. То же выражение можно увидеть в глазах русских крестьян, и те из нас, кто доживет, узрят его на лице архангела Гавриила, когда он затрубит последний сбор. Это выражение должно было бы смутить и уничтожить мужчину, однако он чаще ухмыляется и преподносит букет... за которым тянется веревочка.

А теперь приподнимите шляпу и уходите, получив на прощание веселое «до скорого!» от Лу и насмешливую, нежную улыбку от Нэнси, улыбку, которую вам почему-то не удастся поймать, и она, как белая ночная бабочка, трепеща, поднимается над крышами домов к звездам.

На углу улицы девушки ждали Дэна. Дэн был верный поклонник Лу. Преданный? Он был бы при ней и тогда, когда Мэри пришлось бы разыскивать свою овечку при помощи наемных сыщиков.

— Тебе не холодно, Нэнси? — заметила Лу. — Ну и дура ты! Торчишь в этой лавчонке за восемь долларов в неделю! На прошлой неделе я заработала восемнадцать пятьдесят. Конечно, гладить не так шикарно, как продавать кружева за прилавком, зато плата хорошая. Никто из наших гладильщиц меньше десяти долларов не получает. И эта работа ничем не унизительнее твоя.

— Ну, и бери ее себе, — сказала Нэнси, вздернув нос, — а мне хватит моих восьми долларов и одной комнаты. Я люблю, чтобы вокруг были красивые вещи и шикарная публика. И потом, какие там возможности! У нас в отделе перчаток одна вышла за литейщика илн, как там его, — кузнец, из Питтсбурга. Он миллионер! И я могу подшепнуть не хуже. Я вовсе не хочу хвастать своей наружностью, но я по мелочам не играю. Ну, а в прачечной какие у девушки возможности?

— Там я познакомилась с Дэнном! — победоносно заявляла Лу. — Он зашел за своей воскресной рубашкой и воротничками, а я глядела на первой доске. У нас все хотят работать за первой доской. В этот день Элла Меджиниз заболела, и я заняла ее место. Он говорит, что сперва заметил мои руки — такие белые и круглые. У меня были закатаны рукава. В прачечные заходят очень приличные люди. Их сразу видно: они белье приносят в чемоданчики и в дверях не болтаются.

— Как ты можешь носить такую блузку? Лу? — спросила Нэнси, бросив из-под тяжелых век томно-насмешливый взгляд на пестрый туалет подруги. — Ну и вкус же у тебя!

— А что? — вознегодовала Лу. — За эту блузку я шестнадцать долларов заплатила, а стоит она двадцать пять. Какая-то женщина сдала ее в стирку, да так и не забрала. Хозяин продал ее мне. Она вся в ручной вышивке! Ты лучше скажи, что это на тебе за серое безобразие?

— Это серое безобразие, — холодно сказала Нэнси, — точная копия того безобразия, которое носит миссис ван Олстин Фишер. Девушки говорят, что в прошлом году у нее в нашем магазине счет был двенадцать тысяч долларов. Свое платье я сшила сама. Оно обошлось мне в полтора доллара. За пять шагов ты их не различаешь.

— Ладно уж! — добродушно сказала Лу. — Если хочешь голодать и валяничать — дело твое. А мне годится и моя работа, только бы платили хорошо; зато уж после работы я хочу носить самое нарядное, что мне по карману.

Тут появился Дэн, монтер (с заработком тридцать долларов в неделю), серьезный юноша в дешевом галстуке, избежавший печати развязности, которую город накладывает на молодежь. Он взирал на Лу печальными глазами Ромео, и ее вышитая блузка казалась ему паутиной, запутаться в которой сочтет за счастье любая муха.

— Мой друг мистер Оуэнс, — представила Лу. — А это мисс Дэнфорд, познакомьтесь.

— Очень рад, мисс Дэнфорд, — сказал Дэн, протягивая руку. — Лу много говорила о вас.

— Благодарю, — сказала Нэнси и дотронулась до его ладони кончиками холодных пальцев. — Она упоминала о вас... изредка.

Лу хихикала.

— Это рукопожатие ты подцепила у миссис ван Олстин Фишер? — спросила она.

— Тем более можешь быть уверена, что ему стоит научиться, — сказала Нэнси.

— А мне оно ни к чему. Очень уж тонко. Придуманно, чтобы щеголять брильянтовыми кольцами. Вот когда они у меня будут, я попробую.

— Сначала научись, — благоразумно заметила Нэнси, — тогда и кольца скорее появятся.

— Ну, чтобы покончить с этим спором, — вмешался Дэн, как всегда весело улыбаясь, —

позвольте мне внести предложение. Поскольку я не могу пригласить вас обеих в ювелирный магазин, может быть, отправимся в оперетку? У меня есть билеты. Давайте поглядим на театральные брильянты, раз уж настоящие камешки не про нас.

Верный рыцарь занял свое место у края тротуара, рядом шла Лу в пышном павлиньем наряде, а затем Нэнси, стройная, скромная, как воробышек, но с манерами подлинной миссис ван Олстин Фишер, — так они отправились на поиски своих нехитрых развлечений.

Немногие, я думаю, сочли бы большой универсальной магазин учебным заведением. Но для Нэнси ее магазин был самой настоящей школой. Ее окружали красивые вещи, дышавшие утонченным вкусом. Если вокруг вас роскошь, она принадлежит вам, кто бы за нее ни платил — вы или другие.

Большинство ее покупателей были женщины с высоким положением в обществе, законодательницы мод и манер. И с них Нэнси начала взимать дань — то, что ей больше нравилось в каждой.

У одной она копировала жест, у другой — красноречивое движение бровей, у третьей — походку, манеру держать сумочку, улыбаться, здороваться с друзьями, обращаться к «низшим». А у своей излюбленной модели, миссис ван Олстин Фишер, она заимствовала нечто поистине замечательное — негромкий нежный голос, чистый, как серебро, музыкальный, как пенные дрозды. Это пребывание в атмосфере высшей утонченности и хороших манер неизбежно должно было оказать на нее и более глубокое влияние. Говорят, что хорошие привычки лучше хороших принципов. Возможно, хорошие манеры лучше хороших привычек. Родительские поучения могут и не спасти от гибели вашу пуританскую совесть; но если вы выпрямитесь на стуле, не касаясь спинки, и сорок раз повторите слова «призмы», «пилигримы», сатана отыдет от вас. И когда Нэнси прибегала к ван-олстинфишерской интонации, ее охватывал гордый трепет *noblesse oblige*¹.

В этой универсальной школе были и другие источники познания. Когда вам доведется увидеть, что несколько продавщиц собралось в тесный кружок и позвякивают дутыми браслетами в такт словно бы легкомысленной болтовне, не думайте, что они обсуждают челку модницы Этель. Может быть, этому собранию не хватает спокойного достоинства мужского законодательного собрания, но по значению своему оно не уступает первому совещанию Евы и ее старшей дочери о том, как поставить Адама на место. Это — Женская Конференция Взаимопомощи и Обмена Стратегическими Теориями Нападения на и Защиты от Мира, Который есть Сцена, и от Зрителя-Мужчины, упорно бросающего Букеты на Таковую. Женщина самое беспомощное из земных созданий, грациозная, как лань, но без ее быстроты, прекрасная, как птица, но без крыльев, полная сладости,

¹Положение обязывает (фр.).

как медоносная пчела, но без ее... Лучше бросим метафору — среди нас могут оказаться жульяные.

На этом военном совете обмениваются оружием и делятся опытом, накопленным в жизненных стычках.

— А я ему говорю: «Нахал!» — говорит Сэди. — «Да как вы смеете говорить мне такие вещи? За кого вы меня принимаете?» А он мне отвечает...

Головы — черные, каштановые, рыжие, белолукие и золотистые — сближаются. Сообщается ответ, и совместно решается, как в дальнейшем парировать подобный выпад на дуэли с общим врагом — мужичиной.

Так Нэнси училась искусству защиты, а для женщины успешная защита означает победу.

Учебная программа универсального магазина весьма обширна. И, пожалуй, ни один коллега не подготовил бы Нэнси так хорошо для осуществления ее заветного желания — выиграть в брачной лотерее.

Ее прилавок был расположен очень удачно. Рядом находился музыкальный отдел, и она познакомилась с произведениями крупнейших композиторов, по крайней мере настолько, насколько это требовалось, чтобы сойти за тонкую ценительницу в том неведомом «высшем свете», куда она робко надеялась проникнуть. Она впитывала возвышающую атмосферу художественных безделушек, красивых дорогих материй и ювелирных изделий, которые для женщины почти заменяют культуру.

Честолюбивые стремления Нэнси недолго оставались тайной для ее подруг. «Смотри, вот твой миллионер, Нэнси!» — раздавалось кругом, когда к ее прилавку приближался покупатель подходящей вещицы. Постепенно у мужичи, слоившихся без дела по магазину, пока их дамы занимались покупками, вошло в привычку останавливаться у прилавка с иносными платками и не спеша перебирать батистовые квадратки. Их привлекали поддельный светский тон Нэнси и ее неподдельная изящная красота. Желających полюбопытничать с ней было много. Некоторые из них, возможно, были миллионерами, остальные прилагали все усилия, чтобы сойти за таковых. Нэнси научилась их различать. Сбоку от ее прилавка было окно; за ним были видны ряды машины, ожидавшие визиту покупателей. И Нэнси знала, что автомобили, как и их владельцы, имеют свое лицо.

Однажды обворожительный джентльмен, ухаживая за ней с видом царя Кофетуга, купил четыре дюжины носовых платков. Когда он ушел, одна из продавщиц спросила:

— В чем дело, Нэн? Почему ты его спрашивала? По-моему, товар что надо.

— Он-то? — сказала Нэнси с самой холодной, самой лубезной, самой безразличной улыбкой из арсенала миссис ван Олстин Фишер. — Не для меня. Я видела, как он подъехал. Машина в двенадцать лошадиных сил и шофер — ирландец. А ты заметила, какие платки он

купил — шелковые! И у него кольцо с печаткой. Нет, мне подделок не надо.

У двух самых «уточенных» дам магазина — заведующей отделом и кассирши — были «шкарные» кавалеры, которые иногда приглашали их в рестораны. Как-то они предложили Нэнси пойти с ними. Обед происходил в одном из тех модных кафе, где заказы на столики к Новому году принимаются за год вперед. «Шкарных» кавалеров было двое: один бы лыс (его волосы развеял вихрь удовольствий — это нам достоверно известно), другой — молодой человек, который чрезвычайно убедительно доказывал свою значительность и пресыщенность жизнью, — во-первых, он клялся, что внио никуда не годится, а во-вторых, носил бритые волосы запонки. Этот юноша узрел в Нэнси массу неотразимых достоинств. Он вообще был неравнодушен к продавщицам, а в этой безыскусственная простота ее класса соединялась с манерами его круга. И вот на следующий день он явился в магазин и по всем правилам сделал ей предложение руки и сердца над коробкой платочков из беленого ирландского полотна. Нэнси отказала. В течение всей их беседы каштановая прическа помпадур по соседству напрягала зрение и слух. Когда отвергнутый влюбленный удалился, на голову Нэнси полились ядовитые потоки упреков и негодования.

— Идиотка! Это же миллионер — племянник самого ван Скиттлза. И ведь он говорил всерьез. Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн!

— Ты думаешь? — сказала Нэнси. — Ах, значит, надо было согласиться? Прежде всего, он не такой уж миллионер. Семья дает ему всего двадцать тысяч в год на расходы, лысы вчера над ним смеялся.

Каштановая прическа придвинулась и прищурила глаза.

— Что ты воображаешь? — спросила она хриплым голосом (от волнения она забыла сунуть в рот жевательную резинку). — Тебе что, мало? Может, ты в мормоны хочешь, чтобы повенчаться зараз с Рокфеллером, Гладстоном Дауи, королем испанским и прочей компанией? Тебе двадцать тысяч в год мало?

Нэнси слегка покраснела под упорным взглядом глупых черных глаз.

— Тут дело не только в деньгах, Кэрри, — объяснила она. — Его приятель вчера поймал его на вранье. Что-то о девушке, с которой он будто бы не ходил в театр. А я лжецов не выношу. Одним словом, он мне не нравится — вот и все. Меня дешево не купишь. Это правда — я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громыхающая копилка.

— Тебе место в психометрической больнице, — сказал каштановый помпадур, отворачиваясь.

И Нэнси продолжала питать такие возвышенные идеи, чтобы не сказать — идеалы, на свои восемь долларов в неделю. Она шла по следу великой неведомой «добычи», поддерживая свои силы черствым хлебом и все ту же

затягивая пояс. На ее лице играла легкая, томная, мрачная, боевая улыбка прирожденной охотницы за мужчинами. Магазин был ее лесом; часто, когда дичь казалась крупной и красивой, она поднимала ружье, прицеливаясь, но каждый раз какой-то глубокий безошибочный инстинкт — охотницы или, может быть, женщины — удерживал ее от выстрела, и она шла по новому следу.

А Лу процветала все в той же прачечной. Из своих восемнадцати долларов пятидесяти центов в неделю она платила шесть долларов за комнату и стол. Остальное тратилось на одежду. По сравнению с Нэнси у нее было мало возможностей улучшить свой вкус и манеры. Весь день она гладила в душевой прачечной, гладила и мечтала о том, как приятно проведет вечер. Под ее утюгом перебивало много дорогих пышных платьев, и, может быть, все растущий интерес к нарядам передавался ей по этому металлическому проводнику.

Когда она кончала работу, на улице уже дождался Дэн, ее верная тень при любом освещении.

Иногда при взгляде на туалеты Лу, которые становились все более пестрыми и безвкусными, в его честных глазах появлялось беспокойство. Но он не осуждал ее — ему просто не нравилось, что она привлекает к себе внимание прохожих.

Лу была по-прежнему верна своей подруге. По нерушимому правилу Нэнси сопровождала их, куда бы они ни отправлялись, и Дэн весело и беззаботно нес добавочные расходы. Этому трюму искателей развлечения Лу, так сказать, придавала яркость, Нэнси — тон, а Дэн — вес. На этого молодого человека в приличном стандартном костюме, в стандартном галстуке, всегда с добродушной стандартной шуткой наготове, можно было положиться. Он принадлежал к тем хорошим людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых часто вспоминаешь, когда их нет.

Для взыскательной Нэнси в этих стандартных развлечениях был иногда горьковатый привкус. Но она была молода, а молодость жадна и за неизменным лучшим заменяет качество количеством.

— Дэн все настаивает, чтобы мы поженились, — однажды призналась Лу. — А к чему мне это? Я сама себе хозяйка и трачу свои деньги, как хочу. А он и за что не позволит мне работать. Послушай, Нэн, что ты торчишь в своей лавчонке? Ни поест, ни одеться как следует. Скажи только слово, и я устрою тебя в прачечную. Ты бы сбила форсу, зато у нас можно заработать.

— Тут дело не в форсе, Лу, — сказала Нэнси. — Я предпочту остаться там даже на половинном пайке. Привычка, наверное. Мне нужен шанс. Я ведь не собираюсь провести за прилавком всю жизнь. Каждый день я узнаю что-нибудь новое. Я все время имею дело с богатыми и воспитанными людьми, — хоть я их только обслуживаю, — и можешь быть уверена, что я ничего не пропускаю.

— Изловила своего миллионщика? — насмешливо фыркнула Лу.

— Пока еще нет, — ответила Нэнси. — Выбираю.

— Боже! ты мой, выбирает! Смотри, Нэн, не упусти, если подвернется хоть один даже с неполным миллионом. Да ты шутишь — миллионеры и не думают о работниках вроде нас с тобой.

— Тем хуже для них, — сказала Нэнси рассудительно, — кое-кто из нас научил бы их обращаться с деньгами.

— Если какой-нибудь со мной заговорит, — хохотала Лу, — я просто в обморок хлопнусь!

— Это потому, что ты с ними не встречаешься. Разница только в том, что с этими щеголями надо держать ухо востро. Лу, а тебе не кажется, что подкладка из красного шелка чуть-чуть ярковата для такого пальто?

Лу оглядела простенький оливково-серый жакет подруги.

— По-моему, нет — разве что рядом с твоей линялой тряпкой.

— Этот жакет, — удовлетворенно сказала Нэнси, — точно того же покроя, как у миссис ван Олстин Фишер. Материал обошелся в три девятикопейки восемь — долларов на сто дешевле, чем ей.

— Не знаю, — легкомысленно рассмеялась Лу, — клюнет ли миллионер на такую приманку. Чего доброго, я раньше тебя изловлю золотую рыбку.

Поистине, только философ мог бы решить, кто из подруг был прав. Лу, лишенная той гордости и шепетильности, которая заставляет десятки тысяч девушек трудиться за гроши в магазинах и конторах, весело громыхала утюгом в шумной и душевной прачечной. Зарплата хватало ей с избытком, пышность ее туалетов все возрастала, и Лу уже начинала бросать косые взгляды на приличный, но такой незлегантный костюм Дэна — Дэна стойкого, постоянного, неизменного.

А Нэнси принадлежала к десяткам тысяч. Шелка и драгоценности, кружева и безделушки, духи и музыка, весь этот мир изысканного вкуса создали для женщины, это ее законный удел. Если этот мир нужен ей, если он для нее — жизнь, то пусть она живет в нем. И она не предаст, как Исаа, права, данные ей рождением. Поклебка же ее нередко скудна.

Такова была Нэнси. Ей легко дышалось в атмосфере магазина, и она со спокойной уверенностью съедала скромный ужин и обдумывала дешевые платья. Женщину она уже узнала и теперь изучала свою дичь — мужчину, его обычаи и достоинства. Настанет день, когда она подстрелит желанную добычу: самую большую, самую лучшую — обещала она себе.

Ее заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он ни пришел.

Но — может быть, бессознательно — она узнала еще кое-что. Мерка, с которой она под-

ходила к жизни, незаметно менялась. Порою знак доллара тускнел перед ее внутренним взором и вместо него возникали слова: «искренность», «честь», а иногда и просто «доброта». Прибегнем к сравнению. Бывает, что охотник за лесом в дремучем лесу вдруг выйдет на цветущую поляну, где ручей журчит в покое и отдыхе. В такие минуты сам Нимрод опускает копы.

Иногда Нэнси думала — так ли уж нужен каракул сердцам, которые он покрывает?

Как-то в четверг вечером Нэнси вышла из магазина и, перейдя Шестую авеню, направилась к прачечной. Лу и Дэн неделю назад пригласили ее на музыкальную комедию.

Когда она подходила к прачечной, оттуда вышел Дэн. Против обыкновения, лицо его было хмуро.

— Я зашел спросить, не слышали ли они чего-нибудь о ней, — сказал он.

— О ком? — спросила Нэнси. — Разве Лу не здесь?

— Я думал, вы знаете, — сказал Дэн. — С понедельника она не была ни тут, ни у себя. Она забрала вещи. Одной из здешних девушек она сказала, что собирается в Европу.

— И икко ее с тех пор не видел? — спросила Нэнси.

Дэн жестко посмотрел на нее. Его рот был угрюмо сжат, а серые глаза холодны, как сталь.

— В прачечной говорят, — неприязненно сказал он, — что ее видели вчера — в автомобиле. Наверное, с одним из этих миллионеров, которыми вы с Лу вечно забывали себе голову.

В первый раз в жизни Нэнси растерялась перед мужчиной. Она положила дрогнувшую руку на рукав Дэна.

— Вы говорите так, как будто это моя вина, Дэн.

— Я не это имел в виду, — сказал Дэн, смягчаясь.

Он порывался в жилетном кармане.

— У меня билеты на сегодня, — начал он со стонческой веселостью, — и если вы...

Нэнси умела ценить мужество.

— Я пойду с вами, Дэн, — сказала она. Прошло три месяца, прежде чем Нэнси снова встретила с Лу.

Однажды вечером продавщица торопливо шла домой. У ограды тихого сквера ее оклинули, и, повернувшись, она очутилась в объятиях Лу.

После первых поцелуев они чуть отпрянули назад, как делают змеи, готовясь ужалить или зачаровать добычу, а на кончиках их языков дрожали тысячи вопросов. И тут Нэнси увидела, что на Лу сияло богатство, воплощенное в шедеврах портновского искусства, в дорогих мехах и сверкающих драгоценностях.

— Ах ты, дурочка! — с шумной нежностью вскричала Лу. — Все еще работаешь в этом магазине, как я погляжу, и все такая же замуррышка. А как твоя знаменитая добыча? Еще не изловила?

И тут Лу заметила, что на ее подругу снизошло нечто лучшее, чем богатство. Глаза Нэнси сверкали ярче драгоценных камней, на щеках цвели розы, и губы с трудом удерживали радостные признания.

— Да, я все еще в магазине, — сказала Нэнси, — до будущей недели. И я поймала — лучшую добычу в мире. Тебе ведь теперь все равно, Лу, правда? Я выхожу замуж за Дэна — за Дэна! Он теперь мой, Дэн! Что ты, Лу? Лу!..

Из-за угла сквера показался один из тех молодых поднянутых бюстнителей порядка нового набора, которые делают полноту более сноской — по крайней мере на вид. Он увидел, что у железной решетки сквера горько рыдает женщина в дорогих мехах, с бриллиантовыми кольцами на пальцах, а худенькая, просто одетая девушка обнимает ее, пытаясь утешить. Но будучи гибсоновским фараоном нового толка, он прошел мимо, притворяясь, что ничего не заметил. У него хватало ума понять, что полиция здесь бессильна помочь, даже если он будет стучать по решетке сквера до тех пор, пока стук его дубинки не донесется до самых отдаленных звезд.

МАЯТНИК

— Восемьдесят первая улица... Кому выходить? — прокричал пастух в снем мундире.

Стадо баранов-овывателей вышло из вагона, другое стадо взобралось на его место. Динг-динг! Телячьи вагоны Манхэттенской надземной дороги с грохотом двинулись дальше, а Джон Перкинс спустился по лестнице на улицу вместе со всем выпущенным на волю стадом.

Джон медленно шел к своей квартире. Медленно, потому что в лексиконе его повседневной жизни не было слов «а вдруг?». Никакие сюрпризы не ожидают человека, который два года как женат и живет в дешевой квартире. По дороге Джон Перкинс с мрачным, унылым цинизмом рисовал себе неизбежный конец скучного дня.

Кэти встретит его у дверей поцелуем, пахнущим колыбельным и таячущим. Он снимет пальто, сядет на жесткую, как асфальт, кушетку и прочтет в вечерней газете о русских и японцах, убитых смертоносным лиотопом. На обед будет тушеное мясо, салат, приправленный сложным соусом, от которого (гарантия!) кожа не трескается и не портится, пареный ремень и клубничное желе, покрасневшее, когда к нему прилепится этикетка: «Химически чистое». После обеда Кэти покажет ему новый квадратик на своем лоскутном одеяле, который разносчик льда отрезал для нее от своего галстука. В половине восьмого они растелят на диване и креслах газеты, чтобы достойно встретить куски шутатурки, которые посыпятся с потолка, когда толстяк из квартиры над ними начнет заниматься гимнастикой. Ровно в восемь Хайн и Муни — мюзик-холлная парочка (без ангаже-

мента) в квартире напротив — поддадутся нежному влиянию Delirium Tremens¹ и начнут опрокидывать стулья, в увренность, что антрепренер Гаммерштейн гонится за ними с контрактом на пятьсот долларов в неделю. Потом жилец из дома по ту сторону двора-колодца усядется у окна со своей флейтой; газ начнет весело утекать в неизвестном направлении; кухонный лифт сойдет с рельсов; швейцар еще раз отнесит за реку Ялу пятерых детей мнссис Зеновской; дама в бледно-зеленых туфлях спустится вниз в сопровождении шотландского терьера и укрепит над своим звонком и почтовым ящиком карточку с фамилией, которую она носит по четвергам, — и вечерний порядок доходного дома Фрогмора вступит в свои права.

Джон Перкинс знал, что все будет именно так. И еще он знал, что в четверть девятого он соберется с духом и потянется за шляпой, а жена его произнесет раздраженным тоном следующие слова:

— Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать?

— Думаю заглянуть к Мак-Клоски, — ответит он, — сыграть пульку-другую с приятелями.

За последнее время это вошло у него в привычку. В десять или в одиннадцать он возвращался домой. Иногда Кэти уже спала, иногда поджидала его, готовая растопить в тигеле своего гнева еще немного позолоты со стальных цепей брака. За эти дела Купидону придется ответить, когда он предстанет перед Страшным судом со своими жертвами из доходного дома Фрогмора.

В этот вечер Джон Перкинс, войдя к себе, обнаружил поразительное нарушение повседневной рутины. Кэти не встретила его в прихожей своим сердечным аптецим пошелуем. В квартире царил зловещий беспорядок. Вещи Кэти были раскиданы повсюду. Туфли валялись посреди комнаты, щипцы для завязки, банты, халат, коробка с пудрой были брошены как попало на комод и на стульях. Это было совсем не свойственно Кэти. У Джона упало сердце, когда он увидел гребенку с кудрявым облачком ее каштановых волос в зубьях. Кэти, очевидно, спешила и страшно волиновалась — обычно она старательно прятала эти волосы в голубую вазочку на камин, чтобы когда-нибудь создать из них мечту каждой женщины — накладку.

На видном месте, привязанная веревочкой к газовому рожку, висела сложенная бумажка. Джон схватил ее. Это была записка от Кэти: «Дорогой Джон, только что получила телеграмму, что мама очень больна. Еду поездом четыре тридцать. Мой брат Сэм встретит меня на станции. В леднике есть холодная баранина. Надеюсь, что это у нее не ангина. Заплати молочнику 50 центов. Прошлой весной у нее тоже был тяжелый приступ. Не забудь написать в Газовую компанию про счетчик, твои хорошие носки в верхнем ящике. Завтра напишу. Тороплюсь.

Кэти».

¹Белая горячка (лат.).

За два года супружеской жизни они еще не провели врозь ни одной ночи. Джон с озадаченным видом перечитал записку. Ненормальный порядок его жизни был нарушен, и это ошеломило его.

На спинке стула висел, наводя грусть своей пустотой и бесформенностью, красный с черными крапинками фартук, который Кэти всегда надевала, когда подавала обед. Ее будничные платья были разбросаны впопыхах где попало. Бумажный пакетик с ее любимыми таянчиками лежал еще не развязанный. Газета валялась на полу, зная четырехугольным отверстием в том месте, где из нее вырезали расписание поездов. Все в комнате говорило об утрате, о том, что жизнь и душа отлетели от нее. Джон Перкинс стоял среди мертвых развалин, и странное, тоскливое чувство наполняло его сердце.

Он начал, как умел, наводить порядок в квартире. Когда он дотронулся до платьев Кэти, его охватил страх. Он никогда не задумывался о том, чем была бы его жизнь без Кэти. Она так растворилась в его существовании, что стала, как воздух, которым он дышал, — необходимой, но почти незаметной. Теперь она внезапно ушла, скрылась, исчезла, будто ее никогда и не было. Конечно, это только на несколько дней, самое большее на неделю или две, но ему уже казалось, что сама смерть протянула перст к его прочному и спокойному убежищу.

Джон достал из ледника холодную баранину и в одиночестве уселся за еду, лицом к лицу с наглым свидетельством о химической чистоте клубничного желе. В снявшем ореоле, среди утраченных благ, предстал перед ним призрак тушеного мяса и салата с сапожным лаком. Его очаг разрушен. Заболевшая теща повергла в прах его ларов и пенатов. Пообедав в одиночестве, Джон сел у окна.

Курить ему не хотелось. За окном шумел город, звал его включиться в хоровод бездумного веселья. Ночь принадлежала ему. Он может уйти, ни у кого не спрашиваясь, и окунуться в море удовольствий, как любой свободный, веселый холостяк. Он может курить хоть до зари; и гневная Кэти не будет поджидать его с чашей, содержащей осадок его радости. Он может, если захочет, играть на бильярде у Мак-Клоски со своими шумными приятелями, пока Аврора не затмит своим светом электрические лампы. Цепп Гимея, которые всегда сдерживали его, даже если доходный дом Фрогмора становился ему невмоготу, теперь ослабли — Кэти уехала.

Джон Перкинс не привык анализировать свои чувства. Но, сидя в покинутой Кэти гостиной (десять на двенадцать футов), он безошибочно угадал, почему ему так нехорошо. Он понял, что Кэти необходима для его счастья. Его чувство к ней, убоянное монотонным бытием, разом пробудилось от сознания, что ее нет. Разве не внушают нам беспрестанно при помощи поговорок, проповедей и басен, что мы только тогда начинаем ценить песню, когда

упорхнет сладкоголосая птичка, или ту же мысль в других, не менее цветистых и правильных формулировках?

«Ну и дубина же я,— размышлял Джон Перкинс.— Как я обращаюсь с Кэти? Каждый вечер играю пульку и выпиваю с друзьями, вместо того чтобы посидеть с ней дома. Бедная девочка всегда одна, без всяких развлечений, а я так себя веду! Джон Перкинс, ты последний из негодяев. Но я постараюсь загладить свою вину. Я буду водить мою девочку в театр, развлекать ее. И немедленно покончу с Мак-Клоски и всей этой шайкой».

За окном город шумел, звал Джона Перкинса присоединиться к пляшущим в свите Момуса. А у Мак-Клоски приятели лениво катали шары, практикуясь перед вечерней схваткой. Но ни венки и хороводы, ни звяканье кия не действовали на покаянную душу осиротевшего Перкинса. У него отняли его собственности, которой он не дорожил, которую даже скорее презирал, и теперь ему не доставало ее. Охваченный раскаянием, Перкинс мог бы проследить свою родословную до некоего человека по имени Адам, которого херувимы вышибли из фруктового сада.

Справа от Джона Перкинса стоял стул. На спинке его висела голубая блузка Кэти. Она еще сохраняла подобие ее очертаний. На рукавах были тонкие, характерные морщинки — след движения ее рук, трудившихся для его удобства и удовольствия. Слабый, но настоячивый аромат колокольчиков исходил от нее. Джон взял ее за рукава и долго и серьезно смотрел на неотзывчивый маркизет. Кэти не была неотзывчивой. Слезы — да, слезы — выступили на глазах у Джона Перкинса. Когда она вернется, все пойдет иначе. Он вознаградит ее за свое невнимание. Зачем жить, когда так же нет?

Дверь открылась. Кэти вошла в комнату с маленьким саквояжем в руке. Джон бессмысленно утонул в ней.

— Фу, как я рада, что вернулась,— сказала Кэти.— Мама, оказывается, не так уж больна. Сэм был на станции и сказал, что приступ был легкий и все прошло вскоре после того, как они послали телеграмму. Я и вернулась со следующим поездом. До смерти хочется кофе.

Никто не слышал скрипа и скрежета зубчатых колес, когда механизм третьего этажа доходного дома Фрогмора повернул обратно на прежний ход. Починили пружину, наладили передачу — лента двинулась, и колеса снова завертелись по-старому.

Джон Перкинс посмотрел на часы. Было четверть девятого. Он взял шляпу и пошел к двери.

— Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать?— спросила Кэти раздраженным тоном.

— Думаю заглянуть к Мак-Клоски,— ответил Джон,— сыграть пульку-другую с приятелями.

Когда синие, как ночь, глаза Молли Мак-Кивер положили Малыша Брэди на обе лопатки, он вынужден был покинуть ряды банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укуров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее двух часов пополудни, а если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпик, явившись к ней с утреним приветом, даст пощупать свой холодный нос — залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки.

Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутое в длину, как труба, естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого Адовой кухней. Пролетая вдоль реки, параллельно Одиннадцатой и Двенадцатой авеню, Дымовая труба гнбает своим прокопченным коленом маленький, унылый, неприятный Кингстон-парк. Вспомнив, что дымовая труба — предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в Адовой кухне съестся немало, но высокими званием шеф-повара облечены только члены банды «Дымовая труба».

Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы, на углах улиц, посвящая, по-видимому, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножи-ков. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в две сотни слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом уважаемом клубе несколькими кварталами ближе к востоку.

Однако деятели «Дымовой трубы» не просто украшают собой улицы перекрестки, предаваясь хохле ногтей и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие — осмобждать обывателей от кошелько и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов, без шума и кровопролития. Но в тех случаях, когда ослатливленный их вниманием обыватель не выражает готовности облегчить себе карманы, ему предоставляется возможность изливать свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы.

Полночь банда «Дымовая труба» заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда начеку. Подобно тому, как булькающие трели соловья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский

свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночью тишину темных и узких закоулков Дымовой трубы. И люди в синих мундирах знают: если из Трубы потянуло дымком — значит, развели огонь в Адовой кухне.

Малыш Брэд обещал Молли стать панишкой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым франтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять.

Но, следя за его погружением в пучину добродетели, они не выражали протеста. Ибо, когда парень следует советам своей подружки, в Адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски.

Можешь подставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила, — это твое личное дело, но выполни то, о чем она просит.

— Закрой свой водоразборный край, — сказал Малыш как-то вечером, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока. — Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо-скромно. Я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя. Снимем квартиру, заведем канарейку, купим швейную машинку и флюкс в кадке и попробуем жить честно.

— Ах, Малыш! — воскликнула Молли, смахивая платочком пудру с его плеча. — За эти твои слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть! Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми.

Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли.

— Труднее всего придется по части барахла, — заявил он. — Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку. Этот костюм обошелся мне в шестьдесят пять долларов. Насчет одежды я разобрчив — все должно быть первого сорта, иначе это не для меня. Если я начну работать — тогда прощай маленький человечек с большими ножицами!

— Пустяки, дорогой! Ты будешь мне мил в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле.

На заре своей юности Малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался паяльному делу. К этой полезной и почетной профессии он теперь и вернулся. Но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской, а ведь это только хозяева мастерских — отнюдь не их помощники — носят бриллианты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колониаду, украшающую особняк сенатора Кларка.

Восемь месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву, а банда

«Дымовая труба» по-прежнему бесчинствовала «на большой дороге», раскраивала черепа полицейским, задерживала запоздалых прохожих, изобретала новые способы мирного опустошения карманов, копировала покрывал платья и тона галстуков Пятой авеню и жила по собственным законам, открыто попирая закон. Но Малыш крепко держался своего слова и своей Молли, хотя блеск и сошел с его давно не полированных ногтей и он теперь минут пятнадцать проставал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся.

Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой.

— Ну-ка, Молли, разверни! — небрежно бросил он, широким жестом протягивая ей сверток. — Это тебе.

Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. Молли громко вскрикнула, и в комнату ворвался целый выводок маленьких Мак-Киверов, а следом за ними — и мамаша Мак-Кивер; как истая дочь Евы, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лоханки с грязной посудой.

Снова вскрикнула Молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвилось ее плечи, словно боа-констриктор.

— Русские соборы! — горделиво изрек Малыш, любящий круглую девичьей щекой, прильнувшей к податливому меху. — Первосортная вещица. Впрочем, перевороши хоть всю Россию — не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли.

Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге двух-трех сосунков из рода Мак-Киверов. Вниманию редакторов отдела рекламы! Секрет красоты (сияющие глаза, разрывающиеся щеки, пленительная улыбка): Один Гаринтур из Русских Соборей. Обращайтесь за справками.

Оставшись с Малышом наедине, Молли почувствовала, как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка.

— Ты настоящее золото, Малыш, — сказала она благодарно. — Никогда в жизни я еще не носила мехов. Но ведь русские соборы, кажется, безумно дорогая штука? Поминется, мне кто-то говорил.

— А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи? — спокойно и с достоинством спросил Малыш. — Можешь, ты видела, что я торчу у прилавков с остатками или глазую на витрины «любой предмет за десять центов»? Допустим, что это боа стоит двести пятьдесят долларов и муфта — сто семьдесят пять. Тогда ты будешь иметь некоторые представления о стоимости русских соборей. Хорошие вещи — моя слабость. Черт побери, этот мех тебе к лицу, Молли!

Молли, сняв от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка сбежала с ее лица, и она пытливым и грустным взором посмотрела Малышу в глаза.

Малыш уже давно научился понимать каждый его взгляд; он рассмеялся, и щеки его порозовели.

— Выкинь это из головы, — пробормотал он с грубоватой лаской. — Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана.

— Из своего заработка, Малыш? Из семидесяти пяти долларов в месяц?

— Ну да. Я откладывал.

— Откладывал? Постой, как же это... Четверг двадцать пять долларов за восемь месяцев...

— Ах, да перестань ты высчитывать! — с излишней горячностью воскликнул Малыш. — У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался? Но я же сказал тебе, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, понятно? Надень его и пойдем прогуляемся.

Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с Малышом. Здешиим жителям еще некогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздыми голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболий мех, который Малыш Брэди преподнес своей милашке. По улицам разносились восторженные «ахи», и «охи», и баснословная сумма, уплаченная за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. Малыш с видом владетельного принца шагал по правой руке Молли. Трудная жизнь не излечила его от пристрастия к первосортным и дорогим вещам, и он все так же любил пустить пыль в глаза. На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку Малыша, и возобновили свою непринужденную беседу.

На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Рэнсом из Главного полицейского управления. Рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе Дымовой трубы. Он был не трус, старался поступать по совести и, посещая упомянутые кварталы, исходил из предположения, что обитатели их такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Рэнсому с симпатией и, случалось, подсаживали ему, куда он должен направить свои стопы.

— Что это за волнение там на углу? — спросил Рэнсом бледного юнца в красном свитере.

— Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые Малыш Брэди повесил на свою девчоку, — отвечал юнец. — Говорят, он отвалил за них девятьсот долларов. Шикарная покрывка, ничего не скажешь.

— Я слышал, что Брэди уже с год как занялся своим старым ремеслом, — сказал сыщик. — Он ведь больше не вожжается с бандой?

— Ну да, он работает, — подтвердил красивый свитер. — Послушайте, приятель, а что, меха — это не по вашей части? Пожалуй, таких зверей, как нацепила на себя его девчонка, не поймаешь в паяльной мазёрской.

Рэнсом игнорировал прогуливающуюся парочку на пустынной улице у реки. Он тронул Малыша за локоть.

— На два слова, Брэди, — сказал он спокойно. Взгляд его скользил по длинному пушистому боа, элегантно спадающему с левого плеча Молли. При виде сыщика лицо Малыша потемнело от застарелой неадаптации к полиции. Они отошли в сторону.

— Ты был вчера у миссис Хезкоут на Западном Семьдесят второй? Чинил водопровод?

— Был, — сказал Малыш. — А что?

— Гарнитур из русских соболей, стоимостью в тысячу долларов, исчез оттуда одновременно с тобой. По описанию он очень похож на эти меха, которые украшают твою девушку.

— Поди ты... поди ты к черту, — запальчиво сказал Малыш. — Ты знаешь, Рэнсом, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера у...

Малыш внезапно умолк, не закончив фразы.

— Я знаю, ты честно работал последнее время, — сказал Рэнсом. — Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, и я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэди.

— Пошли, — сердито сказал Малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное, испуганное личико Молли.

— Ни к чему все это, — сказал он угрюмо. — Это старухины соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если б даже цена их была миллион долларов, все равно они недостаточно хороши для тебя.

Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав Малыша.

— О Малыш, Малыш, ты разбил мое сердце! — простонала она. — Я так гордилась тобой... А теперь они укутут тебя — и конец нашей счастливости!

— Ступай домой! — вие себя крикнул Малыш. — Идем, Рэнсом, забирай меха. Пошли, чего ты стоишь! Нет, постой, ей-богу, я... К черту, пусть меня лучше повесят... Беги домой, Молли. Пошли, Рэнсом!

Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Коуна, направляющегося в обход речного района. Сыщик помянул его к себе. Коун подошел, и Рэнсом объяснил ему положение вещей.

— Да, да, — сказал Коун. — Я слышал, что пропал соболя. Так ты их нашел?

Коун приподнял на ладони конец соболяго боа — бывшей собственности Молли Мак-Кнвер — и внимательно на него поглядел.

— Когда-то я торговал мехами на Шестой авеню, — сказал он. — Да, конечно, это соболя. С Аляски. Боа стоит двенадцать долларов, а муфта...

Бац! Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Коуи покачуился, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на Малыша и с помощью Коуиа надел на него наручники.

— Это боа стоит двенадцать долларов, а муфта — девять, — упорствовал полицейский. — Что вы тут толкуете про русские соболя?

Малыш опустился на груды бревен, и лицо его медленно залилось краской.

— Правильно, Всезнайка! — сказал он, с ие-наивности глядя на полицейского. — Я заплатил двадцать один доллар пятьдесят центов за весь гарнитур. Я, Малыш, шикарный парень, презирающий дешевку! Мне легче было бы отсидеть шесть месяцев в тюрьме, чем признаться в этом. Да, Молли, я просто-напросто хвастун — на мой заработок не купишь русских соболей.

Молли кинулась ему на шею.

— Не нуужио мне никаких денег и никаких соболей! — воскликнула она. — Ничего мне на свете не нуужио, кроме моего Малыша! Ах ты, глупый, глупый, тупой, как индюк, сумасшедший задавала!

— Сними с него наручники, — сказал Коуи сыщику. — На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя — они висели у нее в шкафу. Молодой человек, на этот раз я прощаю вам неоптимальное обращение с моей физиономией.

Рэнсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с Малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи боа, перекинув один конец за спину.

— Пара молодых идютов, — сказал Коуи сыщику. — Пойдем отсюда.

ПУРПУРНОЕ ПЛАТЬЕ

Давайте поговорим о цвете, который известен как пурпурный. Этот цвет по справедливости получил признание среди сыновей и дочерей рода человеческого. Императоры утверждают, что он создан исключительно для них. Повсюду любители повеселиться стараются довести цвет своих носов до этого чудного оттенка, который получается, если подмешать в красную краску синей. Говорят, что принцы рождены для пурпура; и это, разумеется, верно, потому что при коликах в животе лица у наследных принцев наливается царственным пурпуром точно так же, как и курносые физиономии наследников дровосека. Все женщины любят этот цвет — когда он в моде.

А теперь как раз носят пурпурный цвет. Сплошь и рядом видишь его на улице. Конечно, в моде и другие цвета — вот только на днях я

видел премиленькую особу в шерстяном платье оливкового цвета: на юбке отделка из нашитых квадратиков и внизу в три ряда воланы, под драпированной кружевной косышкой видна вставка вся в сборочках, рукава с двойными буфами, перетянутые внизу кружевной лентой, из-под которой выглядывают две плиссированные рюшки, — но все-таки и пурпурного цвета носят очень много. Не согласны? А вы попробуйте-ка в любой день пройти по Двадцать третьей улице.

Вот почему Мэйда — девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, продавщица из галантерейного магазина «Улей» — обратилась к Грэйс — девушке с брошкой из искусственных бриллиантов и с ароматом мятных конфет в голосе — с такими словами:

— У меня будет пурпурное платье ко Дню Благодарения — шью у портного.

— Да что ты! — сказала Грэйс, укладывавая несколько пар перчаток размера семь с половиной в коробку с размером шесть три четверти. — А я хочу красное. На Пятой авеню все-таки больше красного, чем пурпурного. И все мужчины от него без ума.

— Мне больше нравится пурпурный, — сказала Мэйда, — старый Шлегель обещалшить за восемь долларов. Это будет прелесть что такое. Юбка в складку, лиф отделан серебряным галуном, белый воротник и в два ряда...

— Промахнешься! — с видом знатока прищурился Грэйс.

—...и по белой парчовой вставке в два ряда тесьма, и баска в складку, и...

— Промахнешься, промахнешься! — повторила Грэйс.

—...и пыльные рукава в складку, и бархотка на манжетах с отворотами. Что ты хочешь этим сказать?

— Ты думаешь, что пурпурный цвет иривается мистеру Рэнси. А я вчера слышала, он говорил, что самый роскошный цвет — красный.

— Ну и пусть, — сказала Мэйда. — Я предпочитаю пурпурный, а кому не нравится, может перейти на другую сторону улицы.

Все это приводит к мысли, что в конце концов даже поклонники пурпурного цвета могут слегка заблуждаться. Крайне опасно, когда девушка думает, что она может носить пурпур независимо от цвета лица и от мнения окружающих, и когда императоры думают, что их пурпурные одеяния вечны.

За восемь месяцев эконоини Мэйда скопила восемнадцать долларов. Этих денег ей хватило, чтобы купить все необходимое для платья и дать Шлегелю четыре доллара вперед за шитье. Накануне Дня Благодарения у нее наберется как раз достаточно, чтобы заплатить ему остальные четыре доллара. И тогда в праздник надеть новое платье — что на свете может быть чудеснее!

Ежегодно в День Благодарения хозяина галантерейного магазина «Улей», старый Бахман,

давал своим служащим обед. Во все остальные триста шестьдесят четыре дня, если не брать в расчёт воскресений, он каждый день напоминал о прелестях последнего банкета и об удовольствиях предстоящего, тем самым призывая их проявить еще больше рвения в работе. Посреди магазина накрывался длинный стол. Витрины завешивались оберточной бумагой, и через черный ход вносились индейки и другие вкусные вещи, закупленные в угловом ресторанчике. Вы, конечно, понимаете, что «Улей» вовсе не был феешельным универсальным магазином со множеством отделов, лифтов и манекенов. Он был настолько мал, что мог называться просто большим магазином; туда вы могли спокойно войти, купить все, что надо, и благополучно выйти. И за обедом в День Благодарения мистер Рэмси всегда...

Ох ты, черт возьми! Мне бы следовало прежде всего рассказать о мистере Рэмси. Он гораздо важнее, чем пурпурный цвет, или оливковый, или даже чем красный клюквенный соус. Мистер Рэмси был управляющим магазином, и я о нем самого высокого мнения. Когда в темных закоулках ему попадались молоденькие продавщицы, он никогда не пытался их ущипнуть, а когда наступали минуты затишья в работе и он им рассказывал разные истории и девушки хихикали и фыркали, то это вовсе не значило, что он угощал их неистойными анекдотами. Мистер Рэмси не только был истинным джентльменом, но отличался еще и несколькими странностями. Он был помешан на здоровье и полагал, что ни в коем случае нельзя питаться тем, что считают полезным. Он решительно протестовал, если кто-нибудь удобно устранился в кресле, или искал приюта от снежной бури, или носил галоши, или принимал лекарства, или еще как-нибудь лелеял собственную персону. Каждая из десяти молоденьких продавщиц каждый вечер, прежде чем заснуть, сладко грезил о том, как она, став миссис Рэмси, будет жарить ему свиные котлеты с луком. Потому что старый Бахман собирался на следующий год сделать его своим компаньоном, и каждая из них знала, что уж если она подпишет мистера Рэмси, то выбьет из него все его дурацкие идеи насчет здоровья еще прежде, чем перестанет болеть живот от свадебного пирога.

Мистер Рэмси был главным организатором праздничного обеда. Неземно приглашались два итальянца — скрипач и арфист, — и после обеда все немного танцевали.

И вот, представьте, задуманы два платья, которые должны покорить мистера Рэмси, одно — пурпурное, другое — красное. Конечно, в платьях будут и остальные девушки, но они в счет не идут. Скорее всего наденут какую-нибудь блузку с черной юбкой, а это ничто по сравнению с великолепием пурпура или красного цвета.

Грэйс тоже накопила денег. Она хотела купить готовое платье. Какой смысл возиться с шитьем? Если у вас хорошая фигура, ничего не стоит подобрать что-нибудь подходящее, только

в талии приходится ушивать — готовые платья почему-то всегда широки в талии.

Подождав вечер накануне Дня Благодарения, Мэйда торопилась домой, предвкушая счастливые завтра. Она мечтала о своем темном пурпуре, но мечты ее были светлые — светлое, восторженное стремление юного существа к радостям жизни, без которых юность так быстро увядает. Мэйда была уверена, что ей пойдет пурпурный цвет, и — уже в тысячный раз — она пыталась себя уверить, что мистеру Рэмси понравится именно пурпурный, а не красный. Она решила зайти домой, достать из комода со дня нижнего ящика четыре доллара, завернутые в папиросную бумагу, и потом заплатить Шлегелю и забрать у него платье.

Грэйс жила в том же доме. Ее комната была как раз над комнатой Мэйды.

Дома Мэйда застала шум и переполох. Во всех закоулках было слышно, как язык счастья раздраженно трещал и тархтел, будто сбивал масло в маслوبيлке. Через несколько минут Грэйс спустилась к Мэйде вся в слезах, с глазами краснее, чем любое платье.

— Она требует, чтобы я съехала, — сказала Грэйс. — Старая карга. Потому что я должна ей четыре доллара. Она выставила мой чемодан в переднюю и заперла комнату. Мне некуда идти. У меня нет ни цента.

— Вчера у тебя были деньги, — сказала Мэйда.

— Я купила платье, — сказала Грэйс. — Я думала, она подождет с платой до будущей недели.

Она всхлипула, потянула носом, вздохнула, опять всхлипула.

Миг — и Мэйда протянула ей свои четыре доллара, — могло ли быть иначе?

— Прелесть ты моя, душечка! — вскричала Грэйс, сияя, как радуга после дождя. — Сейчас отдам деньги этой старой скряге и пойду примерю платье. Это что то божественное. Зайди посмотреть. Я верну тебе деньги по доллару в неделю обязательно!

День Благодарения.

Обед был назначен на полдень. Без четверти двенадцать Грэйс впряхнула к Мэйде. Да, она и впрямь была очаровательна. Она была рождена для красного цвета. Мэйда, сидя у окна в старой шевятовой юбке и синей блузке, штопала чу... О, занималась изящным рукоделием.

— Господи, боже мой! Ты еще не одета! — ахнула красное платье. — Не морщит на спине? Эти вот бархатные нашивки очень пикантны, правда? Почему ты не одета, Мэйда?

— Мое платье не готово, — сказала Мэйда, — я не пойду

— Вот несчастье-то! Право же, Мэйда, ужасно жалко. Надень что-нибудь и пойдем, — будут только свои из магазина, ты же знаешь, никто не обратит внимания.

— Я так настроялась, что будет пурпурное, — сказала Мэйда, — раз его нет, лучше я совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги, а то опоздаешь. Тебе очень к лицу красное.

И все долгие время, пока там шел обед, Мэйда просидела у окна. Она представляла себе, как девушки вскрикивают, стараясь разорвать куриную дужку, как старый Бахман хохочет во все горло собственным, понятным только ему односмысленным шуткам, как блестят брильянты толстой мишсы Бахман, появлявшейся в магазине лишь в День Благодарения, как прохаживается мистер Рэмси, оживленный, добрый, следя за тем, чтобы всем было хорошо.

В четыре часа дня она с бесстрастным лицом и отсутствующим взором медленно направилась в лавку к Шлегелю и сообщила ему, что не может заплатить за платье оставшиеся четыре доллара.

— Боже! — сердито закричал Шлегель. — Почему вы такой печальный? Берите его. Оно готово. Платите когда-нибудь. Разве не вы каждый день ходит мимо моя лавка уже два года? Если я шью платья, то разве я не знаю людей? Вы платите мне, когда можете. Берите его. Оно удачно сшито, и если вы будете хорошеющая в нем — очень хорошо. Вот. Платите, когда можете.

Пролетав миллионную долю огромной благодарности, которая переполняла ее сердце, Мэйда схватила платье и побежала домой. При выходе из лавки легкий дождик брызнул ей в лицо. Она улыбнулась и не заметила этого.

Дамы, разъезжающие по магазинам в экипажах, вам этого не понять. Девочки, чьи гардеробы пополняются на отцовские деньги, — вам не понять, вам никогда не постигнуть, почему Мэйда не почувствовала холодных капель дождя в День Благодарения.

В пять часов она вышла на улицу в своем пурпурном платье. Дождь полил сильнее, порывы ветра обдавали ее целыми потоками воды. Люди пробегали мимо, торопясь домой или к трамваям, низко опуская зонтики и плотно застегнув плащи. Многие из них изумленно оглядывались на красивую девушку со счастливыми глазами, которая безмятежно шагала сквозь бурю, словно прогуливалась по саду в безоблачный летний день.

Я повторяю, вам этого не понять, дамы с туго набитым кошельком и кучей нарядов. Вы не представляете себе, что это такое — жить с вечной мечтой о красивых вещах, голодать восемь месяцев подряд, чтобы иметь пурпурное платье к празднику. И не все ли равно, что идет дождь, град, снег, ревет ветер и бушует циклон?

У Мэйды не было зонтика, не было галош. У нее было пурпурное платье, и в нем она вышла на улицу. Пусть развожалась стихия! Изголодавшееся сердце должно иметь кринулу счастья хоть раз в год. Дождь все лил и стекал с ее пальцев.

Кто-то вышел из-за угла и загородил ей дорогу. Она подняла голову — это был мистер Рэмси, и глаза его горели восхищением и интересом.

— Мисс Мэйда, — сказал он, — да вы просто великолепны в новом платье. Я очень сожа-

лею, что вас не было на обеде. Из всех моих знакомых девушек вы самая здравомыслящая и разумная. Ничто так не укрепляет здоровье, как прогулка в ненастье. Можно мне пройтись с вами?

И Мэйда зарделась и чихнула.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы переулками и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некому художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазинна со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого цента по счету!

И вот в поисках окон, выходящих на север, кровель XVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринич-Виллидж. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали «колоннию».

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая — из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного рестораника на Восьмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорийный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Ист-Сайдю этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было называть галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачками и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У нее один шаис... ну, скажем, против десяти, — сказал он, встравивая ртуть в термометр. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах

гробовщика. Ваща маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?

— Ей... ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, — например, мужчин?

— Мужчины? — переспросила Сю, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит... Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного, из десяти.

После того, как доктор ушел, Сю выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, наивыставая рзгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялом. Сю перестала наивыствовать, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисуюнок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сю слышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она и немного погодя: — ...одиннадцать, — а потом: — ...десять и девять, — а потом: — ...восемь и семь — почти одновременно.

Сю посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плюш с узловатым, подгнившим у корнев стволем заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сю.

— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сюди.

— Листьев. На плюше. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сю. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюше к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плюш, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь... позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь, в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съест немного бульона и дай твоей Сюди закончить рисунок, чтобы она могла сбить его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя.

— Вина тебе покупать больше не надо, — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. — Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.

— Джонси, милая, — сказала Сю, наклонившись над ней, — обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору.

— Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси.

— Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сю. — А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев.

— Постарайся уснуть, — сказала Сю. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоникателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже, под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у «Моисея» Микеланджело, спускалась у него с головы сатра на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазин ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злой старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художник.

Сю застала Бермана, сильно пахнущего можжевельными ягодами, в его полутемной

каморке нижнего этажа. В лодию углу уже двадцать пять лет стояло на молберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сю рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непременная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметны слезились, раскричался, насмехаясь над такими нидотскими фантазиями.

— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего нидота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать себе голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

— Она очень больна и слаба, — сказала Сю, — и от лихорадки ей приходит в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, — если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик... противный старый болтушник.

— Вот настоящая женщина! — закричал Берман. — Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчас я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сю спустила шторы до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке усеялся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сю, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомаивала Джонси.

Сю устало повиновалась.

И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшегося всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все else темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатому краю желтнзной тлениа и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру я.

— Да бог с тобой! — сказала Сю, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?

Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, ста-

новится чуждой всему земному. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низко нависшей голландской кровли.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять шторы.

Лист плюща все еще оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сю, которая разогрела для нее куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девочкой, Сюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока с портвейном... Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.

Днем пришел доктор, и Сю под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Шансы равные, — сказал доктор, пожмая худенькую, дрожащую руку Сю. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сю:

— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же день к вечеру Сю подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.

Бэлди Вудз потянулся за бутылкой и достал ее. За чем бы ни тянулся Бэлди, он обычно... но здесь речь не о Бэлди. Он налил себе в третий раз, на палец выше, чем в первый и во второй. Бэлди выступал консультантом, а консультанта стоит оплатить.

— На твоём месте я бы был королем, — сказал Бэлди так уверенно, что кобура его скрипнула и шпоры зазвенели.

Уэб Игер сдвинул на затылок свой широкополый стетсон и растрепал светлые волосы. Но парикмахерский прием ему не помог, и он последовал примеру более изобретательного Бэлди.

— Когда человек женится на королеве, это не значит, что он должен стать двойкой, — объяснял Уэб, подытоживая свои горести.

— Ну, разумеется, — сказал Бэлди, полный сочувствия, все еще томимый жаждой и искренней увлеченностью проблемой сравнительного достоинства игральные карт. — По праву ты король. На твоём месте я потребовал бы пересдачи. Тебе всучили не те карты... Я скажу тебе, кто ты такой, Уэб Игер.

— Кто? — спросил Уэб, и в его бледно-голубых глазах блеснула надежда.

— Ты принц-коисорт.

— Полегче, — сказал Уэб, — я тебя никогда не ругал.

— Это титул, — объяснил Бэлди, — который в ходу среди карточных чинов; но он не берет взятку. Пойми, Уэб, это клеймо, которым в Европе отмечают некоторых животных. Представь, что ты, или я, или какой-нибудь голландский герцог женится на персоне королевской фамилии. Ну, со временем наши жены становятся королевами. А мы — королями? Черта с два! На коронации наше место где-то между первым коиюном малых королевских коиюшен и девятым великим хранителем королевской опочивальни. От нас только и пользы, что мы снимаемся на photographиях и несем ответственность за появление наследника. Это игра с подвохом. Да, Уэб, ты принц-коисорт. И будь я на твоём месте, я бы устроил междоусобицу, или habeas corpus¹, или что-нибудь в этом роде. Я стал бы королем, если бы даже мне пришлось смешать к черту все карты.

И Бэлди опорожнил стакан в подтверждение своих слов, достойных Варвика, делателя копейки.

— Бэлди, — сказал Уэб торжественно, — мы много лет пасли коров в одном лагере. Еще мальничками мы бегали по одному и тому же пастбищу и топтали один и те же тропинки. Только тебя я посвящая в свои семейные дела. Ты был просто объездчиком на ранчо Нопалито, когда я женился на Санте Мак-Аллистер. Тогда я был старшим; а что я теперь? Я значу меньше, чем прыжка на уздечке.

— Когда старик Мак-Аллистер был королем скота в Западном Техасе, — подхватил Бэлди с сатанинской вкрадчивостью, — и ты был козырем. Ты был на ранчо таким же хозяином.

— Так было, — согласился Уэб, — пока он не догадался, что я пытаюсь заарканить Санту. Тогда он отправил меня на пастбище, как можно дальше от дома. Когда старик умер, Санту стали звать «королевой скота». А я только заведу скотом. Она присматривает за всем делом; она распоряжается всеми деньгами. А я не могу продать даже бычка на обед туристам. Санта — «королева», а я — мистер «Никто».

— На твоём месте я был бы королем, — повторил закоренелый монархист Бэлди Вудз. — Когда человек женится на королеве, он должен идти с ней по одной цене в любом виде — соленом и вяленом, и повсюду — от пастбища до прилавка. Многие, Уэб, считают странным, что не тебе принадлежит решающее слово на Нопалито. Я не хочу сказать ничего худого про миссис Игер — она самая замечательная дамочка между Рио-Гранде и будущим Рождеством, — но мужчине должен быть хозяином в своём доме.

Бритое смуглое лицо Игера вытянулось в маску уязвленной меланхолии. Выражение его лица, растрепанные желтые волосы и простодушные голубые глаза — все это напоминало школьника, у которого место коювода перехватил кто-то посильнее. Но его энергичная мускулистая семидесятидвугодковая фигура и револьверы у пояса не допускали такого сравнения.

— Как это ты меня назвал, Бэлди? — спросил он. — Что это за концерт такой?

— «Коисорт», — поправил Бэлди, — «принц-коисорт». Это псевдоним для неважной карты. Ты по достоинству где-то между козырным валежом и тройкой.

Уэб Игер вздохнул и поднял с пола ремень от чехла своего вичестера.

— Я возвращаюсь сегодня на ранчо, — сказал он безучастно. — Утром мне надо отправить гурт быков в Сан-Антонио.

— До Сухого озера я тебе попутчик, — сообщил Бэлди. — В моем лагере в Сан-Маркос согнали скот и отбирают двухлеток.

Оба сопратегос² сели на лошадей и зарылись прочь от маленького железнодорожного поселка, где в это утро утоляли жажду.

У Сухого озера, где их пути расходились, они остановили лошадей, чтобы выкурить по прощальной сигарете. Много миль они проехали молча, и тишину нарушали лишь дробь копыт о примятую мескитовую траву и потрескивание кустарника, задевавшего за деревянные стремена. Но в Техасе разговоры редко бывают связными. Между двумя фразами можно проехать мило, пообедать, совершить убийство, и все это без ущерба для развиваемого тезиса. Поэтому Уэб без всяких предисловий добавил

¹Неприкосновенность личности (лат.).

²Приятели (исп.).

кое-что к разговору, который завязался десять миль назад.

— Ты сам помнишь, Бэлдн, что Санта не всегда была такая самостоятельная. Ты помнишь дни, когда старик Мак-Аллистер держал нас на расстоянии и как она давала мне знать, что хочет видеть меня. Старик Мак-Аллистер обещал сделать из меня душлага, если я подойду к ферме на ружейный выстрел. Ты помнишь знак, который, бывало, она посылала мне... сердце и в нем крест.

— Я-то? — вскричал Бэлдн с хмельной обидчивостью. — Ах ты, старый койот! Помню ли? Да знаешь ли ты, проклятая длинноногая горница, что все ребята в лагере знали эти ваши иероглифы? «Желудок с костями крест-накрест» — вот как мы называли их. Мы всегда примечали их на поклаже, которую нам привозили с ранчо. Они были выведены углем на мешках с мукой и карандашом на газетах. А как-то я видел такую штуку, нарисованную мелом на спине нового повара, которого прислал с ранчо старик Мак-Аллистер. Честное слово!

— Отец Санты, — кратко объяснил Уэб, — взял с нее обещание, что она не будет писать мне и передавать поручений. Вот она и придумала этот знак «сердце и крест». Когда ей не терпелось меня увидеть, она ухитрилась отмечать этим знаком что придется, лишь бы попалоось мне на глаза. И не было случая, чтобы, приметив этот знак, я не мчался в ту же ночь на ранчо. Я встречался с нею в той рощице, что позади маленького конского корраля.

— Мы знали это, — протянул Бэлдн, — только виду не подавали. Все мы были за вас. Мы знали, почему ты в лагере держишь коня всегда наготове. И когда мы видели «желудок с костями», расписанные на повозке, мы знали, что старнику Пинто придется в эту ночь глотать миль вместо травы. Ты помнишь Скэрри... этого ученого объездчика? Ну, парня из колледжа, который приехал на пастбище лечиться от пьянства. Как завидит Скэрри на чем-нибудь это клеймо «приезжай к своей милке», махнет, бывало рукой вот таким манером и скажет: «Ну, нынче ночью наш приятель Леандр опять поплывет через Геллиспункт».

— В последний раз, — сказал Уэб, — Санта послала мне знак, когда была больна. Я заметил его сразу, как только вернулся в лагерь, и в ту ночь сорок миль прогнал Пинто галопом. В рощице ее не было. Я пошел к дому, и в дверях меня встретил старик Мак-Аллистер.

— Ты приехал, чтобы быть убитым? — говорил он. — Сегодня не выйдет. Я только что послал за тобой мексиканца. Санта хочет тебя видеть. Ступай в эту комнату и поговори с ней. А потом выходи и поговоришь со мной.

Санта лежала в постели сильно больная. Но она вроде как улыбулась, и наши руки сцепились, и я сел возле кровати как был — гряз-

ный, при шпорах, в кожаных штанах и тому подобном.

— Несколько часов мне чудился топот копыт твоей лошади, Уэб, — говорит она. — Я была уверена, что ты прискачешь. Ты увидел знак? — шепчет она.

— Как только вернулся в лагерь, — говорю я. — Он был нарисован на мешке с картошкой и луком.

— Они всегда вместе, — говорит она нежно, — всегда вместе в жизни.

— Вместе они замечательны, — говорю я, — с тушеным мясом.

— Я имею в виду сердце и крест, — говорит она. — Наш знак. Любовь и страдание — вот что он обозначает.

Тут же был старый Док Мэсгров, забавлявшийся виски и веером из пальмового листа. Ну, вскоре Санта засыпает. Док трогает ее лоб и говорит мне: «Вы не плохое жаропонижающее. Но сейчас вам лучше уйти, потому что, согласно диагнозу, вы не требуетесь в больших дозах. Девиза будет в полном порядке, когда проснется».

Я вышел и встретил старика Мак-Аллистера.

— Она спит, — сказал я. — Теперь вы можете делать из меня душлага. Пользуйтесь слу-чаем; я оставил свое ружье на седле.

Старик смеется и говорит мне:

— Какой мне расчет накачать свинцом лучшего управляющего в Западном Техасе? Где я найду такого? Я почему говорю, что ты хорошая мишень? Потому что ты хочешь стать моим зятем. В члены семейства ты, Уэб, мне не годишься. Но использовать тебя на Нопалито я могу, если ты не будешь совать нос в усадьбу. Отправляйся-ка наверх и ложись на койку, а когда выпьешься, мы с тобой это обсудим.

Бэлдн Вудз нагнувшись шляпу и скинул ногу с седельной луки. Уэб натянул поводья, и его застоявшаяся лошадь заплескала. Церемонно, как принято на Западе, мужчины пожали друг другу руки.

— Adios, Бэлди, — сказал Уэб, — очень рад, что познакомился с тобой и побеседовал.

Лошади рванули с таким шумом, будто вспорхнула стая перепелов, и всадники понеслись к разным точкам горизонта. Отъехав ярдов сто, Бэлди остановил лошадь на вершине голого холмика и испустил вопль. Он качался в седле. Иди он пешком, земля бы завертелась под ним и свалила его. Но в седле он всегда сохранял равновесие, смеялся над виски и презирал центр тяжести.

Услышав сигнал, Уэб повернулся в седле.

— На твоём месте, — донесся с произзвонительной издевкой голос Бэлди, — я был бы королем.

На следующее утро, в восемь часов, Бэд Тернер скатился с седла перед домом в Нопалито и зашагал, звякая шпорами, к галерее. Бэд должен был в это утро гнать гурт рогатого скота в Сан-Антонио. Мэнсис Игер была на галерее и поливала цветок гиацитта в красном глиняном горшке.

«Король» Мак-Аллистер завещал своей дочери много положительных качеств: свою решительность, свое веселое мужество, свою упрямую самоуверенность, свою гордость царствующего монарха копыт и рогов. Темпом Мак-Аллистера всегда было *allegro*, а манерой — *fortissimo*. Санта унаследовала их, но в женском ключе. Во многом она напоминала свою мать, которую призвали на ины, беспредельные зеленые пастбища задолго до того, как растущие стада коров придали дому королевское величие. У нее была стройная крепкая фигура матери и ее степенная нежная красота, смягчавшая суровость властных глаз и королевски-независимый вид Мак-Аллистера.

Уэб стоял в конце галереи с несколькими управляющими, которые приехали из различных лагерей за распоряжениями.

— Привет! — сказал Бэд кратко. — Кому в городе сдать скот? Барберу, как всегда?

Отвечать на такие вопросы было прерогативой королевы. Все бразды хозяйства — покупку, продажу и расчеты — она держала в своих ловких пальчиках. Управление скотом целиком было доверено ее мужу. В дни «короля» Мак-Аллистера Санта была его секретарем и помощником. И она продолжала свою работу разумно и с выгодой. Но до того, как она успела ответить, принц-консорт заговорил со спокойной решимостью:

— Сдай этот гурт в загоны Циммермана и Несбита. Я говорю об этом недавно с Циммерманом.

Бэд повернулся на своих высоких каблуках.

— Подождите, — поспешно позвала его Санта. Она взглянула на мужа, удивление было в ее упрямых серых глазах.

— Что это значит, Уэб? — спросила она, и небольшая морщинка появилась у нее между бровей. — Я не торгую с Циммерманом и Несбитом. Вот уже пять лет Барбер забирает весь скот, который идет от нас на продажу. Я не собираюсь отказываться от его услуг. — Она повернулась к Бэду Тэрнеру. — Сдайте этот скот Барберу, — заключила она решительно.

Бэд безучастно посмотрел на кувшин с водой, висевший на галерее, переступил с ноги на ногу и пожевал лист мескита.

— Я хочу, чтобы этот гурт был отправлен Циммерману и Несбиту, — сказал Уэб, и в его голубых глазах сверкнул холодный огонек.

— Глупости! — сказала нетерпеливо Санта. — Вам лучше отправляться сейчас. Бэд, чтобы отполдничать на водопое «Маленького вяза». Скажите Барберу, что через месяц у нас будет новая партия бракованных телят.

Бэд посмотрел украдкой на Уэба, и взгляды их встретились. Уэб заметил в глазах Бэда просьбу извинить его, но вообразил, что видит соблазновение.

— Сдай скот, — сказал он сурово, — фирме...

— Барбера, — резко dokonчила Санта. — И поставим точку. Вы ждете еще чего-нибудь, Бэд?

— Нет, мэм, — сказал Бэд. Но прежде чем уйти, он замешкался ровно на столько времени, сколько нужно корове, чтобы трижды махнуть хвостом; ведь мужчина — всегда союзник мужчине; и даже филистимляне, должно быть, покраснели, овладев Самсоном так, как они это сделали.

— Слушайся своего хозяина! — сардонически крикнул Уэб. Он снял шляпу и так низко поклонился жене, что шляпа коснулась пола.

— Уэб, — сказала Санта с упреком, — ты сегодня ведешь себя страшно глупо.

— Приворный шут, ваше величество, — сказал Уэб медленно, изменившимся голосом. — Чего же еще и ждать? Позвольте высказаться. Я был мужчиной до того, как женился на «королеве скота». А что я теперь? Посмешище для всех лагерей. Но я стану снова мужчиной.

Санта пристально взглянула на него.

— Брось глупости, Уэб, — сказала она спокойно. — Я тебя ничем не обидела. Разве я вмешиваюсь в твоё управление скотом? А коммерческую сторону дела я знаю лучше тебя. Я научилась у папы. Будь благодарен.

— Короли и королевы, — сказал Уэб, — не по вкусу мне, если я сам не фигура. Я пасу скот, а ты носишь корону. Прекрасно! Я лучше буду лорд-канцлером королевского лагеря, чем восьмеркой в чужой игре. Это твоё ранчо, и скот получает Барбер.

Лошадь Уэба была привязана к коновязи. Он вошел в дом и вынес сверток одежд, которые брал только в дальние поездки, и свой плащ, и свое самое длинное лассо, плетенное из сыромятной кожи. Все это он не спеша приторочил к седлу. Санта с поблдевшим лицом следила за ним.

Уэб вскочил в седло. Его серьезное бритое лицо было спокойно, лишь в глазах тлел упрямый огонек.

— Вблизь водопоя Хондо в долине Фрио, — сказал он, — пасется стадо коров и телят. Его надо отогнать подальше от леса. Волки задрали трех телят. Я забыл распорядиться. Скажи, пожалуйста, Симмсу, чтобы он позаботился.

Санта взялась за уздечку и посмотрела мужу в глаза.

— Ты хочешь бросить меня, Уэб? — спросила она спокойно.

— Я, хочу снова стать мужчиной, — ответил он.

— Желаю успеха в похвальном начинании, — сказала она с неожиданной холодностью. Потом повернулась и ушла в дом.

Уэб Игер поехал на юго-восток по прямой, насколько это позволяла топография Западного Техаса. А достигнув горизонта, он, видно, растворился в голубой дали, так как на ранчо Нопалито о нем с тех пор не было ни слуху ни

духу. Дни с воскресеньями во главе строились в недельные эскадроны, и недели под командою полнолуний вступали рядами в месячные полки, несущие на своих знаменах «Tempus fugit»¹, и месяцы маршировали в необъятный лагерь годов. Но Уэб Игер не являлся больше во владения своей королевы.

Однажды некий Бартоломео с низовьев Рио-Гранде, овчар, а посему человек незначительный, показался в виду ранчо Нопалито и почувствовал приступ голода. Ех *consuetudine*² его вскоре усадили за обеденный стол в этом гостеприимном королевстве. И он заговорил, будто из него извергалась вода, словно его стукнули аароновым жезлом... Таков бывает тихий овчар, когда слушатели, чьи уши не заросли шерстью, удостоют его внимания.

— Миссис Игер, — тараторил он, — на днях я видел человека на ранчо Сэко, в округе Гидальго, так его тоже звали Игер, Уэб Игер. Его как раз наняли туда в управляющие. Высокий такой, белобрысый и все молчит. Может, кто из вашей родни?

— Муж, — приветливо сказала Санта. — На Сэко хорошо сделали, что нанял его. Мистер Игер один из лучших скотоводов на Западе.

Исчезновение принца-консорта редко дезорганизует монархию. Королева Санта назначила старшим обездичком надежного подданного по имени Рэмси, одного из верных вассалов ее отца. И на ранчо Нопалито все шло гладко и без волнений, только трава на обширных лугах волновалась от бриза, налетавшего с залива.

Уже несколько лет в Нопалито производились опыты с английской породой скота, который с аристократическим презрением смотрел на техасских длиннорогих. Опыты были признаны удовлетворительными, и для голубокровок отведено отдельное пастбище. Слава о них разнеслась по прерии, по всем оврагам и зарослям, куда только мог проникнуть верховой. На других ранчо проснулись, протерли глаза и с неудовольствием поглядели на длиннорогих.

И в результате однажды загорелый, ловкий, франтоватый юноша с шелковым платком на шее, украшенный револьверами и сопровождаемый тремя мексиканскими *агуеро*³, спешился на ранчо Нопалито и вручил «королеве» следующее деловое письмо:

*«Миссис Игер. — Ранчо Нопалито.
Милостивая государыня!*

Мне поручено владельцами ранчо Сэко закупить 100 голов телок, — двух- и трехлеток, сссекской породы, имеющейся у Вас. Если Вы можете выполнить заказ, не откажите передать скот подателю сего. Чек будет выслан Вам немедленно.

*С почтением Уэбстер Игер,
Управляющий ранчо Сэко».*

Дело всегда дело, даже — я чуть-чуть не написал: «особенно» — в королевстве.

В этот вечер сто голов скота пригнали с пастбища и заперли в корраль возле дома, чтобы сдать его утром.

Когда спустилась ночь и дом затих, бросилась ли Санта Игер лицом в подушку, прижимая это деловое письмо к груди, рыдая и произнося то нмю, которому гордость (ее или его) не позволяла сорваться с ее губ многие дни? Или же, со свойственной ей деловитостью, она подколола его к другим бумагам, сохраняя спокойствие и выдержку, достойные королевы скота? Догадывайтесь, если хотите, но королевское достоинство священо. И все сокрыто завесой. Однако кое-что вы все-таки узнаете.

В полночь Санта, накиннув темное, простое платье, тихо выскользнула из дома. Она задержалась на минуту под дубами. Прерия была словно в тумане, и лунный свет, мерцающий сквозь неосязаемые частицы дрожащей дымки, казался бледно-оранжевым. Но дрозды-пересмешники свистели на каждом удобном суку, мли цветов насыщали ароматом воздух, а на полянке развился целый детский сад — маленькие призрачные кролики. Санта повернулась лицом на юго-восток и послала три воздушных посылу в этом направлении. Все равно подглядывать было некому.

Затем она бесшумно направилась к кухне, находившейся в пятидесяти ярдах. О том, что она там делала, можно только догадываться. Но горни накалелись, и раздавалось легкое постукивание молотка, какое, верно, можно услышать, когда купидон оттачивает свои стрелы.

Вскоре она вышла, держа в одной руке какой-то странной формы предмет с рукояткой, а в другой — переносную жаровню, какие можно видеть в лагерьях у клеймовщиков. Освещенная лунным светом, она быстро побежала к корралю, куда был загнан сссекский скот.

Она отворила ворота и проскользнула в корраль. Сссекский скот был большей частью темно-рыжий. Но в этом гурте была одна молочного-белая телка, заметная среди других.

И вот Санта стянула с плеч нечто, чего мы раньше не заметили, — лассо. Она взяла петлю в правую руку, а смотанный конец в левую и протиснула в гущу скота.

Ее мишенью была белая телка. Она метнула лассо, оно задело за один рог и соскользнуло. Санта метнула еще раз — лассо обвило передние ноги телки, и она грузно упала. Санта кинулась к ней, как пантера, но телка поднялась, толкнула ее и свалила, как былику.

Санта сделала новую попытку. Встревоженный скот плотной массой толкался у стен корраля. Бросок был удачен; белая телка снова припала к земле, и, прежде чем она смогла подняться, Санта быстро закрутила лассо вокруг столба, завязала его простым, но крепким уз-

¹Время бежит (лат.).

²По установленному обычаю (лат.).

³Ковбой (исп.).

лом и кинулась к телке с путами из сыромятной кожи.

В минуту (не такое уж рекордное время) ноги животного были спутаны, и Санта, усталая и запыхавшаяся, на такой же срок прислонилась к стене корраля.

Потом она быстро побежала к жаровне, оставленной у ворот, и притащила странной формы клеймо, раскаленное добела.

Рев оскорбленной белой телки, когда клеймо коснулось ее, должен был бы разбудить слуховые нервы и совесть находившихся поблизости подданных Нопалито, но этого не случилось. И среди глубочайшей ночной тишины Санта, как птица, полетела домой, упала на кровать и зарыдала... Зарыдала так, будто у королев такие же сердца, как и у жен обыкновенных ранчменов, и будто королевы охотно сделают принцев-консORTов королями, если они прискачут из-за холмов, из голубой дали.

Поутру ловкий, украшенный револьверами юноша и его вагхерос погнали гурт ссесекского скота через прерии к ранчо Сэко. Вперед двинуто миль пути. Шесть дней с остановками для пастбы и водопоя.

Скот прибыл на ранчо Сэко в сумерки и был принят и пересчитан старшим по ранчо.

На следующее утро, в восемь часов, какой-то всадник вынырнул из кустарника на усадьбе Нопалито. Он с трудом спешился и зашагал, звеня шпорами, к дому. Его взмыленная лошадь испустила тяжелый вздох и закачалась, понурая голову и закрыв глаза.

Но не расточайте своего сострадания на гнедога, в мелкий пажинах, Бельсхазара. Сейчас на конских пастбищах Нопалито он процветает в любви и в холе, не седлаемый, лелеемый держатель рекорда на дальние дистанции.

Всадник, пошатываясь, вошел в дом. Две руки обвилось вокруг его шеи, и кто-то крикнул голосом женщины и королевы: «Уэб... о Уэб!»

— Я был мерзавцем,— сказал Уэб Игер.

— Тс-с,— сказала Санта,— ты видел?

— Видел,— сказал Уэб.

Один бог знает, что они имели в виду. Впрочем, и вы знаете, если внимательно прочли о предшествующих событиях.

— Будь королевой скота,— сказал Уэб,— и забудь обо всем, если можешь. Я был паршивым койотом.

— Тс-с!— снова сказала Санта, положив пальчик на его губы.— Здесь больше нет королевы. Ты знаешь, кто я? Я — Санта Игер, первая леди королевской опочивальни. Иди сюда.

Она потащила его с галерей в комнату направо. Здесь стояла колыбель, и в ней лежал инфант — красивый, буйный, лепечущий, замечательный инфант, нахально плюющийся на весь мир.

— На этом ранчо нет королевы,— повторила Санта.— Взгляни на короля. У него, твои глаза, Уэб. На колени, и смотри на его высокочество.

Но на галерее послышалось звяканье шпор, и опять появился Бэд Тэрнер с тем же самым вопросом, с каким приходил он без малого год назад.

— Привет! Скот уже на дороге. Гнать его к Барберу или...

Он увидел Уэба и замолк с открытым ртом.

— Ба-ба-ба-ба-ба-ба,— закричал король в своей люльке, колотая кулачками воздух.

— Слушайся своего хозяина, Бэд,— сказал Уэб Игер с широкой усмешкой, как сказал это год назад.

Вот и все. Остается упомянуть, что когда старик Куин, владелец ранчо Сэко, вышел осмотреть стадо ссесекского скота, который он купил на ранчо Нопалито, он спросил своего нового управляющего:

— Какое клеймо на ранчо Нопалито, Уилсон?

— Х — черта — У,— сказал Уилсон.

— И мне так казалось,— заметил Куин.— Но взгляни на эту белую телку. У ней другое клеймо: сердце и в нем — крест. Что это за клеймо?

ВЫКУП

Я и старикашка Мак Лонсберн, мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по сорок тысяч долларов на брата. Я говорю: «старикашка» Мак, но он не был старым. Сорок один, не больше. Однако он всегда казался стариком.

— Энди,— говорит мне Мак,— я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти три года. Давай отдохнем малость и спустим лишние денюжки.

— Предложение мне по вкусу,— говорю я.— Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать: поедемся к Ннагарскому водопаду или будем резаться в «фараон»?

— Много лет,— говорит Мак,— я мечтал, что, если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать «Историю цивилизации» Бокля.

— Ну что ж,— говорю я,— приятно, полезно и без вульгарной помпы. Пожалуй, лучшее помешения денег не придумаешь. Дай мне часы с кукушкой и «Самоучитель для игры на банджо» Сэпа Уиннера, и я тебе компаньон.

Через неделю мы с Максом попадаем в городок Пинья, милях в тридцати от Денвера, и находим элегантный домишко из двух комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезаказались со всеми тремястами сорока жителями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и «Самоучитель» мы привезли с собой из Денвера, и в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома.

Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как стариканша Мак сидит в своей калачке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подошонник, и сквозь очки поглощает снадобье Бокля,— это была картина довольства, которой позаиводвал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо «Старичина-молдинна Зип», и кукушка вовремя вставляла свои замечания, и А-Син насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчины, перед которым спасовал бы даже запах жнмолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбираться чепуху Бокля и закорючки «Самоучнителя», мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об ншиасе, о Египте, об орфографин, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарности, об орлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказывать свое мнение.

Как-то вечером Мак возмнм да спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и полнтике женского сословия.

— Кого ты спрашиваешь!— говорю я самонадеянным тоном.— Я знаю их от Альфреда до Омахи. Женскую природу я тому подобное,— говорю я,— я распознаю так же быстро, как зоркий орел — Скальные горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах...

— Понимаешь, Энди,— говорит Мак, вроде как вздохнув,— мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне вызвала бы склонность обыграть их соседство, да времен не было. С четырнадцати лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создания этого пола. Иногда я жалею об этом,— говорит Мак.

— Женщины — неблагоприятный предмет для изучения,— говорю я,— и все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более несходны в мелочах.

— Кажется, мне,— продолжает Мак,— что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай. И, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу.

— Ну, не знаю,— говорю я ему,— может, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких забот и хлопот. Но я не жалею, что изучил их,— говорю я.— Тот не даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках.

Мы продолжали жить в Пинье, нам нравились это местечко. Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги с шумом, треском и всякими передвижениями, но мне и Маку надоели суматоха и гостиничные подотенца. Народ в Пинье относился к нам хорошо. А-Син стряпал кормежку по нашему вкусу. Мак и Бокль были

неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банджо сердцеприщипательное «Девочки из Буффало, выходящие вечером».

Однажды мне вручили телеграмму от Спейта, из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там два месяца. Мне не терпелось вернуться в Пинью и опять зажить в свое удовольствие.

Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали бы улыбаться.

Это был не человек — зрелище! Честное слово! На него стоило посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Ликской обсерватории!

На нем был сюртук, шикарные ботинки, и белый жилет, и цилиндр, и герань величинной с пучок шпнната была приклепана на фасаде. И он ухмылялся и корчился, как торгаш в пренеподобной нлн мальчишка, у которого схватило живот.

— Алло, Энди,— говорит Мак, цедя сквозь зубы,— рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены.

— Вижу,— говорю я,— и, сознаюсь, это кошушвенное явление. Не таким тебя создавал всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непотребство!

— Понимаешь, Энди,— говорит он,— меня выбрал мировым судьей.

Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким.

Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка, и я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился, и она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше.

— Ты пропал,— говорю я,— если в твои годы заболеваешь любовной корью, А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки! И все это за какие-нибудь два месяца!

— Вечером у меня свадьба... вот эта самая юная девица,— говорит Мак явно с подъемом.

— Я забыл кое-что на почте,— сказал я и быстро зашагал прочь.

Я нагнал эту девушку ярдов через сто. Я снял шляпу и представился. Ей было так лет девятнадцать, а выглядела она моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из «Двух снородок».

— Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба?— сказал я.

— Правильно,— говорит она,— вам это почему-нибудь не нравится?

— Послушай, сестренка,— начинаю я.

— Меня зовут мисс Ребоза Рид,— говорит она обиженно.

— Знаю,— говорю я,— так вот, Ребоза, я уже не молод, гоюсь в должники твоему папаше, а эта старая, расфранченная, подремонтрованная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распутив хвост и кудыкая, в своих лакированных ботинках, как маскпидаренный индюк, приходится мне лучшим другом: Ну на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие?

— Да ведь другого-то нету,— ответила мисс Ребоза.

— Глупости! — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. — С твоей красотой ты подпишишь кого угодно. Послушай, Ребоза, старикашка Мак тебе не пара. Ему было двадцать два, когда ты стала уродженкой Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и тухлой. У него приступ бабьего лета — только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь вымалывает у природы проценты по векселю, который ему достался от амура вместо наличных... Ребоза, тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся?

— Ну ясно,— говорит она, покачивая анютины глазки на своей шляпке. — И думаю, что не мне одной.

— В котором часу должно это свершиться? — спрашиваю я.

— В шесть,— говорит она.

Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака. Позволить такому хорошему, пожилому, не подходящему для супружества человеку погибнуть из-за девочки, которая не отвyla еще грязь карандаш и застегивать платице на спине, — нет, это превышало меру моего равнодушия.

— Ребоза,— сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас знаний первоначин женских резондов,— неужели нет в Пинье молодого человека... приличного молодого человека, который бы тебе нравился?

— Есть,— говорит Ребоза, кивая своими анютиными глазками,— конечно, есть. Спрашивает тоже!

— Ты ему нравишься? — спрашиваю я. — Как он к тебе относится?

— С ума сходит,— отвечает Ребоза. — Маме приходится поливать крыльцо водою, чтобы он не сидел на нем целый день. Но завтра, думается мне, с ним будет покончено,— заключила она со вздохом.

— Ребоза,— говорю я,— ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?

— Еще недоставало! — говорит девушка, покачивая головой. — По-моему, он весь иссох, как дырявый боценок. Вот тоже выдумали!

— Кто этот молодой человек, Ребоза, который тебе нравится? — осведомился я.

— Эдди Бэйлз,— говорит она. — Он служит в колониальной лавочке у Кросби. Но он зарабатывает только тридцать пять долларов в месяц. Элла Ноукс была раньше от него без ума.

— Старикашка Мак сообщил мне,— говорю я,— что сегодня в шесть у вас свадьба.

— Совершенно верно,— говорит она,— в шесть часов, у нас в доме.

— Ребоза,— говорю я. — Выслушайте меня! Если бы Эдди Бэйлз имел тысячу долларов наличными... На тысячу долларов, имей в виду, он может приобрести собственную лавочку... Так вот, если бы вам с Эдди попаласть такая разрешающая сомнения сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в пять вечера?

Девушка смотрит на меня с минутой, и я чувствую, как ее организм охватывают непрерываемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах.

— Тысячу долларов? — говорит она. — Конечно, согласилась бы.

— Пойдем,— говорю я. — Пойдем к Эдди!

Мы пошли в Лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснушчатый, и его бросило в жар и в холод, когда я изложил ему свое предложение.

— В пять часов? — говорит он. — За тысячу долларов? Ой, не будите меня. Понял! Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии. А я покупаю лавочку Кросби — и сам себе хозяин.

Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на тысячу долларов и отдал его старичку. Он должен был передать его Эдди и Ребозе, если они повенчаются в пять.

А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пенек и размышлял о жизни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько тревожных выпадов на долю человека.

Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости. Я знал, что, когда он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные ботинки, он будет мне благодарен. «Удержал Мака от подобных рецидивов», — думал я, — на это не жалко и больше тысячи долларов». Но особенно я был рад тому, что я изучил женщины и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, было, наверно, половина шестого. Я вошел и вижу — старикашка Мак сидит развалившись в качалке, в старом своем костюме, ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях — «История цивилизации».

— Не очень-то похоже, что ты к шести отпавляешься на свадьбу,— говорю я с невинным видом.

— А-а,— говорит Мак и тянется за табак,— ее передвинули на пять часов... Известли запиской, что переменили час. Все уже кончено. А ты чего пропадал так долго, Энди?

— Ты слышал о свадьбе? — спрашиваю я.

— Сам венчал, — говорит он. — Я же говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на Востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребозе, что обвенчаю их. Ои парней толковый и как-нибудь обзаведется собственной лавочкой.

— Обзаведется, — говорю.

— Уйма женщин была на свадьбе, — говорит Мак, — но ничего нового я в них как-то не приметил. А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты... Ведь ты говорил...

— Говорил два месяца назад, — сказал я и потянулся за банджо.

ДРУГ ТЕЛЕМАК

Вернувшись с охоты, я подждал в маленькой городке Лос-Пиньос, в Нью-Мексико, поезд, идущий на юг. Поезд запаздывал на час. Я сидел на крыльце рестораника «Вершина» и беседовал о смысле жизни с Телемаком Хнksom, его владельцем.

Заметив, что вопросы личного характера не исключаются, я спросил его, какое животное, очевидно давным-давно, скрутило и обезобразило его левое ухо. Как охотника меня интересовали злоключения, которые могут постигнуть человека, преследующего дичь.

— Это ухо, — сказал Хнкс, — реликвия верной дружбы.

— Несчастный случай? — не унимался я.

— Никакая дружба не может быть несчастным случаем, — сказал Телемак, и я умолк.

— Я знаю один-единственный случай истинной дружбы, — продолжал мой хозяин, — это случай полюбовного соглашения между человеком из Коинектикута и обезьяной. Обезьяна взбиралась на пальмы в Барранквилле и сбрасывала человеку кокосовые орехи. Человек распылывал их пополам, делал из них чаши, продавал их по два реала за штуку и покупал ром. Обезьяна выпивала кокосовое молоко. Поскольку каждый был доволен своей долей в добыче, они жили, как братья. Но у человеческих существ дружба — занятие преходящее, побалуется ею и забросит.

Был у меня как-то друг, по имени Пейсли Фиш, и я воображал, что он привязан ко мне на веки вечные. Семь лет мы бок о бок добывали руду, разводили скот, продавали патентованные маслостойки, пасли овец, щелкали фотографии и все, что попадалось под руку, ставили провололочные изгородь и собирали сливы. И думалось мне, что ни человекоуобиство, ни лень, ни богатство, ни пьянство, никакие ухищрения не посеют раздора между мной и Пейсли Фишем. Вы и представить себе не можете, как мы

были дружны. Мы были друзьями в деле, но наши дружеские чувства не оставляли нас в часы досуга и забав. Поистине у нас были дни Дамона и ночи Пифиаса.

Как-то летом мы с Пейсли, нарядившись как полагаются, скачем в эти самые горы Сан-Андрес, чтобы на месяц окунуться в безделье и легкомыслие. Мы попадаем сюда, в Лос-Пиньос, в этот сад на крыше мира, где текут реки сгущенного молока и меда. В нем несколько улан, и воздуч, и куры, и ресторан. Чего еще человеку надо!

Приезжаем мы вечером, после ужина, и решаем обследовать, какие съестные припасы имеются в ресторане у железной дорог. Только мы уеслись и отодрали ножами тарелки от красной клеенки, как вдруг влетает вдова Джессап с горячими пирожками и жареной печенкой.

Это была такая женщина, что даже пескарья ввела бы в грех. Она была не столько маленькая, сколько крупная, и, казалось, дух гостеприимства пронизывал все ее существо. Румянее ее лица говорил о кулинарных склонностях и пылком темпераменте, а от ее улыбки чертполох мог бы завестись в декабре месяце. Вдова Джессап наболтала нам всякую всячину: о климате, об истории, о Тейнисоне, о черносливе, о нехватке баранины и в конце концов пожелала узнать, откуда мы явились.

— Спринг-Вэлли, — говорю я.

— Биг-Спринг-Вэлли, — проживывает Пейсли вместе с картошкой и ветчиной.

Это был первый замеченный мною признак того, что старая дружба *fidus Diogenes*¹ между мною и Пейсли окончилась навсего. Он знал, что я терпеть не могу болтунов, и все-таки влез в разговор со своими вставками и сниктаческими добавлениями. На карте значилось Биг-Спринг-Вэлли, но я сам слышал, как Пейсли тысячу раз говорил просто Спринг-Вэлли.

Больше мы не сказали ни слова и, поужинав, вышли и уеслись на рельсах. Мы слишком долго были знакомы, чтобы не знать, какие мысли бродили в голове у соседа.

— Надеюсь, ты понимаешь, — говорит Пейсли, — что я решил присвокупить эту вдову, как органическую часть, к моему наследству в его домашней, социальной, юридической и других формах отныне и навек, пока смерть не разлучит нас.

— Все ясно, понятно, — отвечаю я. — Я прочел это между строк, хотя обмолвился только одной. Надеюсь, тебе также известно, — говорю я, — что я предпринял шаг к перемене фамилии вдовы на фамилию Хнкс и советую тебе написать в газету, в отдел светской хроники, и запросить точную информацию, полагается ли шаферу камелия в петлицу и носки без шва.

— В твоей программе пройдут не все номера, — говорит Пейсли, пожевывая кусок желез-

¹Верный Диоген (лат.).

нодородной шпалы.— Будь это дело мирское, я уступил бы тебе в чем хочешь, но здесь — шалишь! Улыбки женщины, — продолжает Пейсли, — это водоворот Сциллы и Харибды, в пучину которого часто попадает, разбиваясь в щепки, крепкий корабль «Дружба». Как и прежде, я готов отбить тебя у медведя, — говорит Пейсли, — поручиться по твоему векселю или растирать тебе лопатки оподельдочком. Но на этом мое чувство этикета иссякает. В азартной игре на миссис Джессап мы играем порознь. Я честно предупредил тебя.

Тогда я совещаюсь сам с собой и предлагаю следующую резолюцию и поправки:

— Дружба между мужчинами, — говорю я, — есть древняя историческая добродетель, рожденная в те дни, когда люди должны были защищать друг друга от летающих черепашек и ящеров с восьмидесятифутовыми хвостами. Люди сохраняют эту привычку по сей день и стоят друг за друга до тех пор, пока не приходит коридорный и не говорит, что все эти звери им только померещились. Я часто слышал, — говорю я, — что с появлением женщин исчезает дружба между мужчинами. Разве это необходимо? Видишь ли, Пейсли, первый взгляд и горячий пирожок миссис Джессап, очевидно, вызвали в наших сердцах вибрацию. Пусть она достанется лучшему из нас. С тобой я буду играть в открытую, без всяких закулисных проделок. Я буду за ней ухаживать в твоём присутствии, так что у тебя будут равные возможности. При таком условии я не вижу оснований, почему наш пароход «Дружба» должен перевернуться в указанном тобой водовороте, кто бы из нас ни вышел победителем.

— Вот это друг! — говорит Пейсли, пожимая мне руку. — Я сделаю то же самое, — говорит он. — Мы будем за ней ухаживать, как близнецы, без всяких церемоний и кровопролитий, обычных в таких случаях. И победа или поражение — все равно мы будем друзьями.

У ресторана миссис Джессап стояла под деревьями скамейка, где вдова имела обыкновение посиживать в холодке, накормив и отправив поезд, идущий на юг. Там мы с Пейсли обычно и собирались после ужина и произвели частичные выплаты дани уважения даме нашего сердца. И мы были так честны и щепетильны, что, если кто-нибудь приходил первым, он поджидал другого, не предпринимая никаких действий.

В первый вечер, когда миссис Джессап узнала о нашем условии, я пришел к скамейке раньше Пейсли. Ужин только что окончился, и миссис Джессап сидела там в свежем розовом платье, остывшая после кухни уже настолько, что ее можно было держать в руках.

Я сел с ней рядом и сделал несколько замечаний относительно одухотворенной внешности природы, расположенной в виде ландшафта и примыкающей к нему перспективы.

Вечер, как говорят, настраивал. Луна занималась своим делом в отведенном ей участке небосвода, деревья расстилали по земле свои тени, согласуясь с наукой и природой, а в кустах шла громкая переключка между козодоями, иволгами, кроликами и другими пернатыми насекомыми. А горный ветер распевал, как губная гармошка, в куче жестянок из-под томата, сложенной у железнодорожного полотна.

Я почувствовал в левом боку какое-то странное ощущение, будто тесто подымалось в квашне. Это миссис Джессап придвинулась ко мне ближе.

— Ах, мистер Хикс, — говорит она, — когда человек одинок, разве он не чувствует себя еще более одиноким в такой замечательный вечер?

Я моментально поднялся со скамейки.

— Извините меня, сударыня, — говорю я, — но, пока не придет Пейсли, я не могу вам дать вразумительный ответ на подобный наводящий вопрос.

И тут я объяснял ей, что мы — друзья, спаянные годами лишений, скитаний и соучастия, и что, попав в цветник жизни, мы условились не пользоваться друг перед другом никаким преимуществом, какое может возникнуть от пылких чувств и приятного соседства. На минуточку миссис Джессап серьезно задумалась, а потом разразилась таким смехом, что даже лес засмеялся ей в ответ.

Через несколько минут подходит Пейсли, волосы его облиты бергамотным маслом, и он садится по другую сторону миссис Джессап и начинает печальную историю о том, как в девятую пятом году в долине Санта-Рита, во время девятимесячной засухи, он и Ламли Мякинине Рыло заключили пари на седло с серебряной отделкой, кто больше одберет издохших коров.

Итак, с самого начала ухаживания я строил Пейсли Фиша и привязал к столбу. У каждого из нас была своя система, как коснуться слабых мест женского сердца. Пейсли, тот стремился парализовать их рассказами о необыкновенных событиях, пережитых им лично или известных ему из газет.

Мне кажется, что он заимствовал этот метод покорения сердец из одной шекспировской пьесы под названием «Отелло», которую я как-то видел. Там один чериокожий пичкает герцогскую дочку разговорным винегретом из Райдера Хаггарда, Лью Докстейдера и доктора Паркхерста и таким образом получает то, что надо. Но подобный способ ухаживания хорош только на сцене.

А вот вам мой собственный рецепт, как довести женщину до такого состояния, когда про нее можно сказать: «урожайная такая-то». Научитесь брать и держать ее руку — и она ваша. Это не так легко. Некоторые мужчины хватают женскую руку таким образом, словно собираются отодрать ее от плеча, так что чую запах арипки и слышишь, как разрывают ру-

башки на биты. Некоторые берут руку, как раскаленную подкову, и держат ее далеко перед собой, как аптекарь, когда наливает в пузырек серную кислоту. А большинство хватается за руку и сует ее прямо под нос даме, как мальчишка бейсбольный мяч, найденный в траве, все время напоминающая ей, что рука у нее торчит из плеча. Все эти приемы никуда не годятся.

Я укажу вам верный способ.

Видальи вы когда-нибудь, как человек крадется на задний двор и поднимает камень, чтобы запустить им в кота, который сидит на заборе и смотрит на него? Человек делает вид, что в руках у него ничего нет, и что он не видит кота, и что кот не видит его. В этом вся суть. Следите, чтобы эта самая рука не попала под женские глаза. Не давайте ей понять, что вы думаете, что она знает, будто вы имеете хоть малейшее представление о том, что ей известно, что вы держите ее за руку. Таково было правило моей тактики. А что касается пейслиевских серенад насчет военных действий и несчастных случаев, так он с таким же успехом мог читать ей расписание поездов, останавливающихся в Оушен-Гроув, штат Нью-Джерси.

Однажды вечером, когда я появился у скамейки раньше, Пейсли на целую перекурку, дружба моя на минуту ослабла, и я спрашиваю миссис Джессап, не думает ли она, что букву Х легче написать, чем букву Д. Через секунду ее голова раздробила цветок олеандра у меня в петлице, и я наклонился н... и ничего.

— Если вы не против, — говорю я, вставая, — то мы подождем Пейсли и закончим при нем. Я не сделал еще ничего бесцельного по отношению к нашей дружбе, а это было бы не совсем добросовестно.

— Мистер Хикс, — говорит миссис Джессап, как-то странно поглядывая на меня в темноте. — Если бы не одно обстоятельство, я попросила бы вас отчалить и не делать больше визитов в мой дом.

— А что это за обстоятельство, сударыня?

— Вы слишком хороший друг, чтобы стать плохим мужем, — говорит она.

Через пять минут Пейсли уже сидел с положенной ему стороны от миссис Джессап.

— В Силвер-Сити летом девяносто восьмого года, — начинает он, — мне привелось видеть в кабаке «Голубой свет», как Джим Бартольмью откусил китайцу ухо по той причине, что клетчатая сатиновая рубашка, которая... Что это за шум?

Я возобновил свои занятия с мисс Джессап как раз с того, на чем мы остановились.

— Миссис Джессап, — говорю я, — обещаю стать миссис Хикс. Вот еще одно тому подтверждение.

Пейсли обвил свои ноги вокруг ножки скамейки и вроде как застонал.

— Лем, — говорит он, — семь лет мы были

друзьями. Не можешь ли ты целовать миссис Джессап потише? Я бы сделал это для тебя.

— Ладно, — говорю я, — можно и потише.

— Этот китаец, — продолжает Пейсли, — был тем самым, что убил человека по фамилии Маллинз весной девяносто седьмого года, и это было...

Пейсли снова прервал себя.

— Лем, — говорит он, — если бы ты был настоящим другом, ты бы не обинмал миссис Джессап так крепко. Ведь прямо скамья дрожит. Помнишь, ты говорил, что предоставишь мне равные шансы, пока у меня останется хоть один.

— Послушайте, мистер, — говорит миссис Джессап, повертываясь к Пейсли, — если бы вы через двадцать пять лет попали на нашу с мистером Хиксом серебряную свадьбу, как вы думаете, сварил бы вы в своем котелке, который вы называете головой, что вы в этом деле с боку припека? Я вас долго терпела, потому что вы друг мистера Хикса, но, моему, пора бы вам надеть траур и убраться подальше.

— Миссис Джессап, — говорю я, не ослабляя своей жениховской хватки, — мистер Пейсли — мой друг, и я предложил ему играть в открытую и на равных основаниях, пока останется хоть один шанс.

— Шанс! — говорит она. — Неужели он думает, что у него есть шанс? Надеюсь, после того, что он видел сегодня, он поймет, что у него есть шанс, а не шанс.

Короче говоря, через месяц мы с миссис Джессап сочтены законным браком в методистской церкви в Лос-Пиньос, и весь город сбегался поглядывать на это зрелище.

Когда мы стали плечом к плечу перед проповедником и он начал было гусавить свои ритуалы и пожелания, я оглядываюсь и не нахожу Пейсли.

— Стой! — говорю я проповеднику. — Пейсли нет. Надо подождать Пейсли. Раз дружба, так дружба навсегда, таков Телемак Хикс, — говорю я.

Миссис Джессап так и стрельнула глазами, но проповедник, согласно инструкции, прекратил свои заклинания.

Через несколько минут голопом влетает Пейсли, на ходу пристегивая манжетку. Он объясняет, что единственная в городе галантерейная лавочка была закрыта по случаю свадьбы, и он не мог достать крахмальную сорочку себе по вкусу, пока не выставил заднее окно лавочки и не обслужил себя сам. Затем он становится по другую сторону невесты, и венчание продолжается. Мне кажется, что Пейсли рассчитывал, как на последний шанс, на проповедника — возьмет да и обвенчает его по ошибке с вдовой.

Окончив все процедуры, мы принялись за чай, виленую антилопу и абрикосовые консервы, а затем народишко убрался с миром. Пейсли пожал мне руку последним и сказал, что я действовал честно и благородно и он гордится, что может называть меня своим другом.

У проповедника был небольшой домишко фасадом на улицу, оборудованный для сдачи внаем, и он разрешил нам занять его до утреннего поезда в десять сорок, с которым мы отбыли в наше свадебное путешествие в Эль-Пасо. Жена проповедника украсила комнаты мальвами и плющом, и дом стал похож на беседку и выглядел празднично.

Часов около десяти в тот вечер я сажусь на крыльцо и стаскиваю на сквознячке сапоги; миссис Хикс прибегает в комнату. Скоро свет в доме погас, а я все сижу и вспоминаю былые времена и события. И вдруг я слышу, миссис Хикс кричит:

— Лем, ты скоро?

— Иду, иду,— говорю я, очнувшись.— Ей же-ей, я дождался старикашку Пейсли, чтобы...

— Но не успел я договорить,— заключил Телемак Хикс,— как мне показалось, что кто-то отстрелил мое левое ухо из сорокапятикалиберного. Выяснилось, что по уху меня съездила половая щетка, а за нее держалась миссис Хикс.

СПРАВОЧНИК ГИМЕНЕЯ

Я, Сандерсон Пратт, пишущий эти строки, полагаю, что системе образования в Соединенных Штатах следовало бы находиться в ведении бюро погоды. В пользу этого я могу привести веские доводы. Ну, скажите, почему бы наших профессоров не передать метеорологическому департаменту? Их учили читать, и они легко могли бы пробегать утренние газеты и потом телеграфировать в главную контору, какой ожидать погоды. Но этот вопрос интересен и с другой стороны. Сейчас я собираюсь вам рассказать, как погода снабдила меня в Айдахо Грина светским образованием.

Мы находились в горах Биттер-Рут, за хребтом Монтана, искал золото. В местечке Уолла-Уолла один бородатый малый, надеясь неизвестно на что, выдал нам аванс. И вот мы торчали в горах, ковыряя их понемножку и располагая запасом еды, которого хватило бы на прокорм целой армии на все время мирной конференции.

В один прекрасный день приезжает из Карлоса почтальон, делает у нас привал, съедает три банки сливовых консервов и оставляет нам свежую газету. Эта газета печатала сводки предчувствий погоды, и карта, которую она сдала горам Биттер-Рут с самого низа колоды, началась: «Тепло к ясию; ветер западный, слабый».

В тот же день вечером пошел снег и подул сильный восточный ветер. Мы с Айдахо переисли свою стойку повыше, в старую заброшенную хижину, думая, что это всего-навсего налетела ноябрьская метелица. Но когда на ровных местах снегу выпало на три фута, непогода разыгралась всерьез, и мы поняли, что нас за-

несло. Груды троплива мы натаскали еще до того, как его засыпало, кормежки у нас должно было хватить на два месяца, так что мы предоставили стихиям бушевать и злиться, как им заблагорассудится.

Если вы хотите поощрить ремесло человекоубийства, запрягите на месяц двух человек в хижине восемнадцать на двадцать футов. Человеческая натура этого не выдержит.

Когда упали первые снежные хлопья, мы хотели над своими островами да похваливали бурду, которую извлекали из котелка и называли хлебом. К концу третьей недели Айдахо опубликовывает такого рода эдикт:

— Я не знаю, какой звук издавало бы кислое молоко, падая с воздушного шара на дно жестяной кастрюльки, но, мне кажется, это было бы небесной музыкой по сравнению с бульканьем жиденькой струйки дохлых мыслей, истекающих из ваших разговорных органов. Полупрожеванные звуки, которые вы ежедневно издаете, напоминают мне коровью жвачку с той только разницей, что корова — особа воспитанная и оставляет свое при себе, а вы нет.

— Мистер Грин,— говорю я,— вы когда-то были моим приятелем, и это мешает мне сказать вам со всей откровенностью, что если бы мне пришлось выбирать между вашим обществом и обществом обыкновенной кудлатой, колючей дворняжки, то один из обитателей этой хибарки влиял бы сейчас хвостом.

В таком духе мы беседуем несколько дней, а потом и вовсе перестаем разговаривать. Мы делим кухонные принадлежности, и Айдахо стряпает на одном конце очага, а я — на другом. Снега навалило по самые окна, и огонь приходится поддерживать целый день.

Мы с Айдахо, надо вам доложить, не имели никакого образования, разве что уметь читать да вычислять на грифельной доске: «Если у Джона три яблока, а у Джеймса пять...» Мы никогда не ощущали особой необходимости в университетском дипломе, так как, болтаясь по свету, приобрели кое-какие истинные познания и могли ими пользоваться в критических обстоятельствах. Но, загнанные снегом в хижину на Биттер-Рут, мы впервые почувствовали, что, если бы изучали Гомера или греческий язык, дробь и высшие отрасли знания, у нас были бы кое-какие запасы для размышлений и дум в одиночестве. Я видел, как молодчики из восточных колледжей работают в ковбойских лагерях по всему Западу, и у меня создалось впечатление, что образование было для них меньшей помехой, чем могло показаться с первого взгляда. Вот, к примеру, на Снейк-Ривер у Андру Мак-Уильямса верховая лошадь подцепила чесотку, так он за десять миль погнал тележку за одним из этих чудаков, который величал себя ботаником. Но лошадь все-таки околела.

Однажды утром Айдахо шарил поленом на небольшой полке — до нее нельзя было

достигнул — рукой. На — ползали две книжки. Я шагнул к ним, но встретился взглядом с Айдахо. Он заговорил в первый раз за неделю.

— Не обожгите ваших пальчиков, — говорит он. — Вы годитесь в товарищи только спящей черепахе, но, невзирая на это, я поступлю с вами по-честному. И это больше того, что сделали ваши родители, пустив вас по свету с общительностью гремучей змеи и отзывчивостью мороженого репы. Мы сыграем с вами до туза, и выигравший выберет себе книгу, а проигравший возьмет оставшуюся.

Мы сыграли, и Айдахо выиграл. Он взял свою книгу, а я свою. Потом мы разошлись по разным углам хижин и занялись чтением.

Я никогда так не радовался самородку на десять унций, как обрадовался этой книге. И Айдахо смотрел на свою, как ребенок на леденец.

Моя книжка была небольшая, размером пять на шесть дюймов, с заглавием: «Херкимеров справочник необходимых познаний». Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, — это величайшая из всех написанных книг. Она сохранилась у меня до сих пор, и, пользуясь ее сведениями, я кого хочешь могу обыграть пятьдесят раз в минуту. Куда до нее Соломону или «Нью-Йорк трибуну»? Херкимер обоих заткнет за пояс. Этот малый, должно быть, потратил пятьдесят лет и пропутешествовал миллион миль, чтобы набраться такой премудрости. Тут тебе и статистика населения всех городов, и способ, как узнать возраст девушки, и сведения о количестве зубов у верблюда. Тут можно узнать, какой самый длинный в мире туннель, сколько звезд на небе, через сколько дней выпадает ветряная опаша, каких размеров должна быть женская шея, какие права «вето» у губернаторов, даты постройки римских акведуков, сколько фунтов риса можно купить, если не выпивать три кружки пива в день, среднюю ежегодную температуру города Огэсты, штат Мэн, сколько нужно семян моркови, чтобы засеять один акр рядовой сеялки, какие бывают противоядия, количество волос на голове у блондинки, как сохранять яйца, высоту всех гор в мире, даты всех войн и сражений, и как приводить в чувство утопленников и очумевших от солнечного удара, и сколько гвоздей идет на фунт, и как делать динамит, поливать цветы и стлать постель, и что предпринять до прихода доктора — еще пропасть всяких сведений. Может, Херкимер и не знает чего-нибудь, но по книжке я этого не заметил.

Я сидел и читал эту книгу четыре часа. В ней были спрессованы все чудеса просвещения. Я забыл про снег и про наш разлад с Айдахо. Он тихо сидел на табуретке, и какое-то нежное и загадочное выражение просвещало сквозь его рыже-бурую бороду.

— Айдахо, — говорю я, — тебе какая книга досталась?

Айдахо, очевидно, тоже забыл старые счета, потому что ответил умеренным тоном, без всякой браии и злости.

— Мне-то? — говорю я. — По всей видимости, это Омар Ха-Эм!

— Омар Х. М., а дальше? — спросил я.

— Ничего дальше, Омар Ха-Эм, и все, — говорит он.

— Врешь, — говорю я, немного задевший тем, что Айдахо хочет втереть мне очки. — Какой дурак станет подписывать книжку инициалами. Если это Омар Х. М. Спендейк, или Омар Х. М. Мак-Суини, или Омар Х. М. Джонс, так и скажи по-человечески, а не жуй конец фразы, как телеюк подол рубахи, вывешенной на просушку.

— Я сказал тебе все как есть, Санди, — говорит Айдахо спокойно. — Это стихотворная книга, автор — Омар Ха-Эм. Сначала я не мог понять, в чем тут соль, но покопался и вижу, что жила есть. Я не променял бы эту книгу на пару красных одеял.

— Ну и читай ее себе на здоровье, — говорю я. — Лично я предпочитаю беспристрастное изложение фактов, чтобы было над чем поработать мозгами, и, кажется, такого сорта книжонка мне и досталась.

— Тебе, — говорит Айдахо, — досталась статистика — самая низкопробная из всех существующих наук. Она отравит твой мозг. Нет, мне приятней система намеков старикашки Ха-Эм. Ои, похоже, что-то вроде агента по продаже вины. Его дежурный тост: «Все три-трава». По-видимому, он страдает избытком желчи, но в таких дозах разбавляет ее спиртом, что самая беспардонная его брань звучит как приглашение раздавить бутылочку. Да, это поэзия, — говорит Айдахо, — и я презираю твою кредитную лавочку, где мудрость меряют и на футах и дюймах. А если понадобится объяснить философическую перепрочину тайн естества, то старикашка Ха-Эм забудет твоего парня по всем статьям — вплоть до объема груди и средней годовой нормы дождевых осадков.

Вот так и шло у нас с Айдахо. Днем и ночью мы только тем и развлекались, что изучали наши книги. И несомненно, снежная буря снабдила каждого из нас уйма всяких познаний. Если бы в то время, когда снег начал таять, мы вдруг подошли ко мне и спросили: «Сандерсон Пратт, сколько стоит покрыть квадратный фут крыши железом двадцать на двадцать восемь, ценою девять долларов пятьдесят центов за ящик?» — я ответил бы вам с такой же быстротой, с какой свет пробегает по ручке лопаты со скоростью в сто девяносто две тысячи миль в секунду. Многие могут это сделать? Разудите-ка в полночь любого из ваших знакомых и попросите его сразу ответить, сколько костей в человеческом скелете, не считая зубов, или какой процент голо-со требуется в парламенте штата Небраска, чтобы отменить «вето». Ответит он вам? Попро-буйте и убедитесь.

Какую пользу извлекал Айдахо из своей стихотворной книги, я точно не знаю. Стоило ему открыть рот, и он уже прославлял своего винного агента, но меня это мало в чем убеждало.

Этот Омар Х. М., судя по тому, что просачи-

валось из его книжки через посредство Айдахо, представлялся мне чем-то вроде собаки, которая смотрит на жизнь, как на консервную банку, привязанную к ее хвосту. Набегает на полусмерти, усядется, высунет язык, посмотрит на банку и скажет:

«Ну, раз мы не можем от нее освободиться, пойдем в кабачок на углу и наполним ее за мой счет».

К тому же он, кажется, был персом. А я ни разу не слышал, чтобы Персия производила что-нибудь достойное упоминания, кроме турецких ковров и мальтийских кошек.

В ту весну мы с Айдахо наткнулись на богатую жилу. У нас было правило распределять все в два счета и двигаться дальше. Мы сдали нашему подрядчику золота на восемь тысяч долларов каждый, а потом направились в этот маленький городок Розу, на реке Салмон, чтобы отдохнуть, поест по-человечески и соскоблить наши бороды.

Роза не была прирочным поселком. Она расположилась в долине и отсутствием шума и распутства напоминала любой городок сельской местности. В Розе была трехмильная трамвайная линия, и мы с Айдахо целую неделю катались в одном вагончике, вылезая только на ночь у отеля «Вечерняя заря». Так как мы и много поехали, и были теперь здорово начитаны, мы вскоре стали вхожи в лучшее общество Розы, и нас приглашали на самые шикарные и боитонные вечера. Вот на одном таком благотворительном вечерне-конкурсе на лучшую мелодекламацию и на большее количество съеденных перепелов, устроенном в здании муниципалитета в пользу пожарной команды, мы с Айдахо и встретились впервые с миссис Д. Ормонд Сэмпсон, королевой общества Розы.

Миссис Сэмпсон была вдовой и владелицей единственного в городе двухэтажного дома. Он был выкрашен в желтую краску, и, откуда бы на него ни смотреть, он был виден так же ясно, как остатки желтка в постный день в бороде ирландца. Двадцать два человека, кроме меня и Айдахо, заявляли претензии на этот желтый домик.

Когда ноты и перепелиные кости были выметены из залы, начались танцы. Двадцать три поклонника галопом подлетели к миссис Сэмпсон и пригласили ее танцевать. Я отступил от тупста и попросил разрешения сопровождать ее домой. Вот здесь-то я и показал себя.

По дороге она говорит:

— Ах, какие сегодня прелестные и яркие звезды, мистер Пратт!

— При их возможностях, — говорю я, — они выглядят довольно симпатично. Вот эта, большая, находится от нас на расстоянии шестидесяти шести миллиардов миль. Потребовалось тридцать шесть лет, чтобы ее свет достиг до нас. В восемнадцатифутовый телескоп можно увидеть сорок три миллиона звезд, включая и звезды тринадцатой величины, а если какая-нибудь из этих последних сейчас закатилась бы, вы

продолжали бы видеть ее двести тысяч лет.

— Ой! — говорит миссис Сэмпсон. — А я ничего об этом не знала. Как жарко... Я вся вспотела от этих танцев.

— Не удивительно, — говорю я, — если принять во внимание, что у вас два миллиона потовых желез и все они действуют одновременно. Если бы все ваши потопроводные трубы длиной в четверть дюйма каждая присоединили друг к другу концами, они вытянулись бы на семь миль.

— Царица небесная! — говорит миссис Сэмпсон. — Можно подумать, что вы описываете оросительную канаву, мистер Пратт. Откуда у вас все эти ученые познания?

— Из наблюдений, — говорю я ей. — Странствуя по свету, я не закрываю глаз.

— Мистер Пратт, — говорит она, — я всегда обожала культуру. Среди тугоголовых идиотов нашего города так мало образованных людей, что истинное наслаждение мне побеседовать с культурным джентльменом. Пожалуйста, заходите ко мне в гости, когда только вздумается.

Вот каким образом я завоевал расположение хозяйки двухэтажного дома. Каждый вторник и каждую пятницу, по вечерам, я навещал ее и рассказывал ей о чудесах вселенной, открытых, классифицированных и воспроизведенных с натуры Херкимером. Айдахо и другие доижуаны города пользовались каждой минутой остальных дней недели, предоставленных в их распоряжение.

Мне было невдомек, что Айдахо пытается воздействовать на миссис Сэмпсон приемами ухаживания старикашки Х. М., пока я не узнал об этом как-то вечером, когда шел обычным своим путем, неся ей корзинку дикой сливы. Я встретил миссис Сэмпсон в переулке, ведущем к ее дому. Она сверкала глазами, а ее шляпа угрожающе накрыла одну бровь.

— Мистер Пратт, — начинает она, — этот мистер Грин, кажется, ваш приятель?

— Вот уже девять лет, — говорю я.

— Порвите с ним, — говорит она, — он не джентльмен.

— Поймите, сударыня, — говорю я, — он обыкновенный житель гор, которому присуще хамство и обычные недостатки расточителя и лгуна, но никогда, даже в самых критических обстоятельствах, у меня не хватало духа отрицать его джентльменство. Вполне возможно, что своим мануфактурным снаряжением, наглостью и всей экспозицией он противен глазу, но по своему интуиту, сударыня, он так же не склонен к низкопробному преступлению, как и к точности. После девяти лет, проведенных в обществе Айдахо, — говорю я, — мне было бы неприятно порицать его и слышать, как его порицают другие.

— Очень похвально, мистер Пратт, что вы вступаете за своего друга, — говорит

миссис Сэмпсон, — но это не меняет того обстоятельства, что он сделал мне предложение, достаточно оскорбительное, чтобы возмутить скромность всякой женщины.

— Да не может быть! — говорю я. — Старухашка Айдахо выкинул такую штуку? Скорее этого можно было ожидать от меня. За ним водятся лишь один грех, и в нем повинна метель. Однажды, когда снег задержал нас в горах, мой друг стал жертвой фальшивых и непростойших стихов, и, возможно, они развратили его манеры.

— Вот именно, — говорит миссис Сэмпсон. — С тех пор, как я его знаю, он не переставая декламирует мне безбожные стихи какой-то особы, которую он называет Рубай Ате, и если судить по ее стихам, это негодница, каких свет не выдал.

— Значит, Айдахо наткнулся на новую кингу, — говорю я, — автор той, что у него была, пишет под псевдонимом Х. М.

— Уж лучше бы он и держался за нее, — говорит миссис Сэмпсон, — какой бы она ни была. А сегодня он перешел все границы. Сегодня я получила от него букет цветов, и к ним приколоты записки. Вы, мистер Пратт, вы знаете, что такое воспитанная женщина, и вы знаете, какое я занимаю положение в обществе Розы. Допускаете вы на минуту, чтобы я побежала в лес с мужичной, прихватив кувшин вина и каравай хлеба, и стала бы пить и скакать с ним под деревьями? Я выпиваю немного красного за обедом, но не мнею привычки таскать его кувшинами в кусты и тешить там дьявола на такой манер. И уж, конечно, он принес бы с собой эту кингу стихов, он так и написал. Нет, пусть уж он один ходит на свои скандальные пикники. Или пусть берет с собой свою Рубай Ате. Уж она-то не будет брыкаться, разве что ей не понравится, что он захватит больше хлеба, чем вина. Ну, мистер Пратт, что вы теперь скажете про вашего приятеля-джентльмена?

— Видите ли, сударыня, — говорю я, — весьма вероятно, что приглашение Айдахо было своего рода поэзией и не имело в виду обидеть вас. Возможно, что оно принадлежало к разряду стихов, называемых фигуральными. Подобные стихи оскорбляют закон и порядок, но почти их пропускает на том основании, что в них пишут не то, что думают. Я был бы рад за Айдахо, если бы вы посмотрели на это сквозь пальцы, — говорю я. — И пусть наши мысли взлетят с низменных областей поэзии в высшие сферы расчета и факта. Наши мысли, — говорю я, — должны быть созвучны такому чудесному дню. Не правда ли, здесь тепло, но мы не должны забывать, что на экваторе линия вечного холода находится на высоте пятнадцати тысяч футов. А между сороковым и сорок девятым градусом широты она находит-

ся на высоте от четырех до девяти тысяч футов.

— Ах, мистер Пратт, — говорит миссис Сэмпсон, — какое утешение слышать от вас чудесные факты после того, как вся изнервничавшись из-за стихов этой негодной Рубай.

— Сядем на это бревно у дороги, — говорю я, — и забудем о бесчеловечности и развращенности поэтов. В длинных столбцах удостоверенных фактов и общепринятых мер и весов — вот где надо искать красоту. Вот мы сидим на бревне, и в нем, миссис Сэмпсон, — говорю я, — заключена статистика более изумительная, чем любая поэма. Колыца на срезе показывают, что дерево прожило шестьдесят лет. На глубине двух тысяч футов, через три тысячи лет оно превратилось бы в уголь. Самая глубокая угольная шахта в мире находится в Киллингворте близ Ньюкасла. Ящик в четыре фута длиной, три фута шириной и два фута восемь дюймов вышиной вмещает тонну угля. Если порезана артерия, стяните ее выше раны. В ноге человека тридцать костей. Лондонский Тауэр сгорел в тысяча восемьсот сорок первом году.

— Продолжайте, мистер Пратт, продолжайте, — говорит миссис Сэмпсон, — ваши идеи так оригинальны и успокоительны. По-моему, нет ничего прелестнее статистики.

Но только две недели спустя я до конца оценил Херкимера.

Однажды ночью я проснулся от криков: «Пожар!» Я вскочил: оделся и вышел из отеля полюбоваться зрелищем. Увидев, что горит дом миссис Сэмпсон, я испустил оглушительный вопль и через две минуты был на месте.

Весь нижний этаж был объят пламенем, и тут же скопились все мужское, женское и собачье население Розы, и орало, и лаяло, и мешало пожарным. Айдахо держал шестеро пожарных, а он пытался вырваться из их рук. Они говорили ему, что весь низ пылает и что туда войдет, обратно живым не выйдет.

— Где миссис Сэмпсон? — спрашиваю я.

— Ее никто не видел, — говорит один из пожарных. — Она спит наверху. Мы пытались туда пробраться, но не могли, а лестниц у нашей команды еще нет.

Я выбегаю на место, освещенное пламенем пожара, и вытаскиваю из внутреннего кармана справочник. Я засмеялся, почувствовав его в своих руках, — мне кажется, что я немного обалдел от возбуждения.

— Херки, друг, — говорю я ему, перелистывая странички, — ты никогда не лгал мне и никогда не оставлял меня в беде. Выручай, дружище, выручай! — говорю я.

Я сунулся на страничку 117: «Что делать при несчастном случае», — пробежал пальцем вниз по листу и попал в точку. Молодчина Херкимер, он ничего не забыл!

¹Псевдоним (фр.).

На странице 117 было написано: «Удушье от вдыхания дыма или газа». Нет ничего лучше льняного семени. Вложите несколько семян в наружный угол глаза».

Я сунул справочник обратно в карман и схватил пробежавшего мимо мальчишку.

— Вот, — говорю я, давая ему деньги, — бегни в аптеку и принеси на доллар льняного семени. Живо, и получишь доллар за работу. — Теперь, — кричу я, — мы добудем миссис Сэмпсон! — И сбрасываю пиджак и шляпу.

Четверо пожарных и граждан хватают меня.

— Идти в дом — идти на верную смерть, — говорят они. — Пол уже начал проваливаться.

— Да как же, черт побери! — кричу я и все еще смеюсь, хотя мне не до смеха. — Как же я вложу льняное семя в глаз, не имея глаза?

Я двинул локтями пожарников по лицу, лягушкой одного гражданина и свалил боковым ударом другого. А затем я ворвался в дом. Если я умру раньше вас, я напишу вам письмо и сообщу, намного ли хуже в чертовом пекле, чем было в стенах этого дома; но пока не делайте выводов. Я прожарился куда больше тех цыплят, что подают в ресторане по срочным заказам. От дыма и огня я дважды кидался на пол и чуть-чуть не посрамил Херкимера, но пожарные помогли мне, пустив небольшую струйку воды, и я добрался до комнаты миссис Сэмпсон. Она от дыма лишилась чувств, так что я завернул ее в одеяло и взвалил на плечо. Ну ясно, пол не был так уж поврежден, как мне говорили; а то разве бы он выдержал? И думать нечего!

Я оттащил ее на пятьдесят ярдов от дома и уложил на траву. Тогда, конечно, все остальные двадцать два претендента на руку миссис Сэмпсон столпились вокруг с ковшами воды, готовые спасти ее. Тут прибежал и мальчишка с льняным семенем.

Я раскутал голову миссис Сэмпсон. Она открыла глаза и говорит:

— Это вы, мистер Пратт?

— Т-с-с, — говорю я. — Не говорите, пока не примете лекарство.

Я обвиняю ее шею рукой и тихонько поднимаю ей голову, а другой рукой разрываю пакет с льняным семенем; потом со всей возможной осторожностью я склоняюсь над ней и пускаю несколько семян в наружный угол ее глаза.

В этот момент галопом прилетает деревенский доктор, фыркает во все стороны, хватая миссис Сэмпсон за пульс и интересуется, что собственно значат мои ндиотские выходки.

— Видите ли, клнстриная трубка, — говорю я, — я не занимаюсь постоянной врачебной практикой, но тем не менее могу сослаться на авторитет.

Принесли мой пиджак, и я вытащил справочник, держа его от себя.

— Посмотрите страницу сто семнадцать, — говорю я. — Удушье от вдыхания дыма или газа. Льняное семя в наружный угол глаза, не так ли? Я не сумею сказать, действует ли оно как поглотитель дыма, или побуждает к действию сложный гастро-гипопотамический нерв, но Херкимер его рекомендует, а он был первым приглашен к пациентке. Если хотите устроить консилиум, я ничего не имею против.

Старый доктор берет книгу и рассматривает ее с помощью очков и пожарного фонаря.

— Послушайте, мистер Пратт, — говорит он, — вы, очевидно, попали не на ту страницу, когда ставили свой диагноз. Рецепт от удушья гласит: «Вынесите больного как можно скорее на свежий воздух и положите его на спину, приподняв голову», а льняное семя — это средство против «пыли и золы, попавших в глаз», строчкой выше. Но в конце концов...

— Послушайте, — перебивает миссис Сэмпсон, — мне кажется, я могу высказать свое мнение на этом консилиуме. Так знаете, это льняное семя принесло мне больше пользы, чем все лекарства в моей жизни.

А потом она поднимает голову, снова опускает ее мне на плечо и говорит: «Положите мне немножко и в другой глаз, Саиди, дорогой».

Так вот, если вам придется завтра или когда-нибудь в другой раз остановиться в Розе, то вы увидите замечательный новенький ярко-желтый дом, который украшает собою миссис Пратт, бывшая миссис Сэмпсон. И если вам придется ступить за его порог, вы увидите на мраморном столе посреди гостиной «Херкимеров справочник необходимых познаний», заново переплетенный в красивый сафьян и готовый дать совет по любому вопросу, касающемуся человеческого счастья и мудрости.

ПИМИЕНТСКИЕ БЛИНЧИКИ

Когда мы сгоняли гурт скота с тавром «Треугольник-О» в долине Фрио, торчащий сук сухого мескита зацепился за мое деревянное стремя, я вывихнул себе ногу и неделю провалялся в лагере.

На третий день моего вынужденного безделья я выполз к фургону с провинцией и беспомощно растянулся под разговорным обстрелом Джедсона Одома, лагерного повара. Джед был рожден для молодых, но судьба, как всегда ошиблась, навязав ему профессию, в которой он большую часть времени был лишен аудитории.

Таким образом, я был манной небесной в пустыне вынужденного молчания Джедса.

Своевременно во мне заговорило естественное для больного желание поест чего-нибудь такого, что не входило в опись нашего пайка. Меня посетили видения матушкиного буфета, «что сладостны, как первая любовь, источник горьких сожалений», и я спросил:

— Джек, ты умеешь печь блинчики?

Джек отложил свой шестизарядный револьвер, которым собирался постучать антилопу отбивную, и встал надо мной, как мне показалось, в угрожающей позе. Впечатление его враждебности еще более усилилось, когда он устремил на меня холодный и подозрительный взгляд своих блестящих голубых глаз.

— Слушай, ты,— сказал он с явным, хотя и сдержанным гневом.— Ты издеваешься или серьезно? Кто-нибудь из ребят рассказывал тебе про этот подход с блинчиками?

— Что ты, Джек, я серьезно, я бы, кажется, променял свою лошадь и седло на горку масляных поджаристых блинчиков с горшочком свежей новоорлеанской патоки. А разве была какая-нибудь история с блинчиками?

Джек сразу смягчился, увидев, что я говорю без намеков. Он притянул из фургончика-то таинственные мешочки и жестяные баночки и сложил их в тени куста, под которым я примостился. Я следил, как он начал не спеша расставлять их и развязывать многочисленные веревочки.

— Нет, не история,— сказал Джек, продолжая свое дело,— просто логическое несоответствие между мной, красноглазым овчаром из ложины Шелудивого Осла и мисс Уиллеле Лирайт. Что ж, я, пожалуй, расскажу тебе.

Я пас тогда скот у старика Билла Туми на Сан-Мигуэле. Однажды мне страсть как захотелось пожевать какой-нибудь такой консервированной кормежки, которая никогда не мычала, не бляела, не хрюкала и не отмеривалась гарицами. Ну, я вскакиваю на свою малышку и лечу в лавку дядюшки Эмсли Телфера у Пимнейской переправы через Нуэсес.

Около трех пополудни я накинул поводья на сук мескита и пешком прошел последние двадцать шагов до лавки дядюшки Эмсли. Я вскочил на прилавок и объявлял ему, что, по всем приметам, мировому урожаю фруктов грозит гибель. Через минуту я имел мешок сухарей, ложку с длинной ручкой и по открытой банке абрикосов, ананасов, вишен и сливы, а рядом трудился дядюшка Эмсли, вырубая топориком желтые крышки. Я чувствовал себя, как Адам до скандала с яблоком, воизалшпоры в прилавок и орудовал своей двадцатичетырехдюймовой ложкой, как вдруг посмотрел случайно в окно на двор дома дядюшки Эмсли, находившегося рядом с лавкой.

Там стояла девушка, неизвестная девушка в полном снаряжении; она вертела в руках кро-

кетный молоток и изучала мой способ шошрения фруктов-консервной промышленности.

Я скатился с прилавка и сунул лопату дядюшке Эмсли.

— Это моя племянница,— сказал он.— Мисс Уиллеле Лирайт, приехала погостить из Палестины. Хочешь, я тебя познакомлю?

— Из святой земли,— сказал я себе, и мои мысли сбились в кучу, как овцы, когда их загоняешь в корраль. А почему нет? Ведь были же ангелы в Палестине... Конечно, дядюшка Эмсли,— сказал я вслух,— мне было бы страшно приятно познакомиться с мисс Лирайт.

Тогда дядюшка Эмсли вывел меня во двор и представил нас друг другу.

Я никогда не был робок с женщинами. Я никогда не мог понять, почему это некоторые мужчины, способные в два счета укротить мустанга и побраться в темноте, становятся вдруг паралитиками и черт знает как потеют и заикаются, заведя кусок миткаля, обернутый вокруг того, вокруг чего ему полагается быть обернутым. Через восемь минут я и мисс Уиллеле дружно гоняли крокетные шары, будто двоюродные брат и сестра. Она связвила насчет количества уничтоженных мною фруктовых консервов, а я, не очень смущаясь, дал сдачи, напомнив, как некая особа, по имени Ева, устроила сцену из-за фруктов на первом свободном пастбище... «Кажется, в Палестине, не правда ли?»— говорю я так легко и спокойно, словно заарканиваю одноплетку.

Таким вот манером я сразу расположил к себе мисс Уиллеле Лирайт, и чем дальше, тем наша дружба становилась крепче. Она прожила на Пимнейской переправе ради поправления здоровья, очень хорошего, и ради климата, который был здесь жарче на сорок процентов, чем в Палестине.

Сначала я наезжал повидать ее раз в неделю, а потом рассчитал, что если я удвою число поездок, то буду видаться с ней вдвое чаще.

Как-то на одной неделе я выкроил время для третьей поездки. Вот тут-то и втесались в игру блинчики и красноглазый овчар.

Сидя в тот вечер на прилавке, с персиком и двумя сливами во рту, я спросил дядюшку Эмсли, что поделявает мисс Уиллеле.

— А она,— говорит дядюшка Эмсли,— поехала покатасть с Джеконом Птицей, овцеводом из ложины Шелудивого Осла.

Я проглотил персиковую косточку и две сливовых. Наверное, кто-нибудь держал прилавок под уздцы, когда я слезал. А потом я вышел и направился по прямой, пока не уперся в мескит, где был привязан мой чалый.

— Она поехала кататься,— прошептал я в ухо своей малышке.— С Птичиной Джеком, Шелудивым Ослом из Овцеводной ложины, понимаешь ты это, друг с копытами?

Мой чалый заплакал на свой манер. Это был ковбойский конь, и он не любил овцеводов.

— Я вернулся и спросил дядюшку Эмсли: «Так ты сказал — с овцеводом?»

Я сказал не овцеводом, — повторял дядюшка Эмсли. — Ты, верно, слышал о Джексоне Птице. У него восемь участков пастбища и четыре тысячи голов лучших меринсов к югу от Северного полюса.

Я вышел, сел на землю в тени лавки и прислонился к кактусу. Безрассудными руками я сыпал за голенища песок и произносил монолог по поводу птицы из породы Джексон.

За свою жизнь я не изучил ни одного овцевода и не считал это необходимым. Как-то я повстречал оловца, он ехал верхом и читал латинскую грамматику, — так я его пальцем не тронул. Овцеводы никогда особенно не раздражали меня, не то что других коббей. Очень мне нужно уродовать и калечить пловцов, которые едят за столом, носят штiblеты и говорят с тобою на всякие темы. Пройдешь, бывало, мимо и поглядишь, как на кролика, еще скажешь что-нибудь приятное и потолкуешь насчет погоды, но, конечно, никаких распривочных и навинос не было. Вообще я не считал нужным с ними связываться. Так вот потому, что по доброте своей я давал им дышать, один такой разъезжает теперь с мисс Уиллелой Лирайт.

За час до заката они прискакали обратно и остановились у ворот дядюшки Эмсли. Овечья особа помогла Уиллеле слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастриюлку и трусит в направлении своего бараньего ранчо. К тому времени я вытряхнул песок из сапог и отцепился от кактуса. Он не отъехал и полмили от Пиминты, когда я поравнялся с ним на моем чалом.

Я назвал этого овчара красноглазым, но это не верно. Его зрительное приспособление было довольно серым, но ресницы были красные, а волосы рыжие, оттого он и казался красноглазым. Овцевод?.. Куда к черту, в лучшем случае гиятник, козявка какая-то, с желтым шелковым платком вокруг шеи и в башмаках с бантиками.

— Привет! — сказал я ему. — Вы сейчас едете с всадником, которого называют Джексон Верная Смерть за приемы его стрельбы. Когда я хочу представиться незнакомому человеку, я всегда представляюсь ему до выстрела, потому что терпеть не могу пожимать руку покойнику.

— Вот как! — говорит он совершенно спокойно. — Рад познакомиться с вами, мистер Джексон. Я Джексон Птица с ранчо Шелудивого Осла.

Как раз в эту минуту один мой глаз увидел крупноту, скачущую по холму с молодым гарантулом в клюве, а другой глаз заметил ястреба, сидевшего на сухом суку вяза. Я хлопнул их для души важности одну за другим из своего сорокапятикалиберного.

— Две из трех, — говорю я. — Птицы, должны заявить, так и садятся на мои пули.

— Чистая стрельба, — говорил овцевод,

не моргнув глазом. — Скажите, а вам не случилось промахнуться на третьем выстреле? Хороший дождик выпал на прошлой неделе, мистер Джексон, теперь трава так и пойдет.

— Чижик, — говорю я, подъезжая вплотную к его фасонной лошади, — ваши ослепленные родители наделили вас именем Джексон, но вы определенно выродились в чирякающую птицу. Давайте бросим эти самые анализы дождика и стихий и поговорим о том, что не входит в словарь попугаев. Вы завели дуриную привычку кататься с молодыми девицами из Пиминты. Я звал пташек, — говорю я, — которых поджаривали за меньшие проступки. Мисс Уиллела, — говорю я, — совсем не нуждается в гнезде, свитом из овечьей шерсти пичужкой из породы Джексон. Так вот, намерены ли вы прекратить эти штучки, или желаете галопом наскочить на мою кличку «Верная Смерть», в которой два слова и указание по меньшей мере на одну похоронную процессию?

Джексон Птица слегка покраснел, а потом засмеялся.

— Ах, милый Джексон, — говорит он, — вы заблуждаетесь. Я заезжал несколько раз к мисс Лирайт, но не с той целью, как вы думаете. Мой объект чисто гастрономического свойства.

Я потянулся за револьвером.

— Всякий койот, — говорю я, — который оселится непочтительно...

— Подождите минуточку, — говорит эта пташка, — дайте объяснить. К чему мне жена? Посмотрели бы вы на мое ранчо. Я сам себе стряпаю и штопаю. Еда — вот единственное удовольствие, извлекаемое мной из разведения овец. Мистер Джексон, вы пробовали когда-нибудь блинчики, которые печет мисс Лирайт?

— Я? Нет, — говорю, — я и не знал, что она занимается кулинарными манипуляциями.

— Это же золотые звезды, — говорит он, — поджаренные на амброзийном огне Эпикура. Я бы отдал два года жизни за рецепт приготовления этих блинчиков. Вот зачем я ездил к мисс Лирайт, — говорит Джексон Птица, — но мне не удалось узнать его. Это старинный рецепт, он сохраняется в семье уже семьдесят пять лет. Он передается из поколения в поколение, и посторонним его не сообщают. Если бы я мог достать этот рецепт, я лек бы сам себе блинчики на ранчо и был бы счастливым человеком, — говорит Птица.

— Вы уверены, — говорю я ему, — что вы гоняетесь не за ручкой, которая месит блинчики?

— Уверен, — говорит Джексон. — Мисс Лирайт совершенно очаровательная девушка, но, повторяю, мои намерения не выходят за пределы гастро... — Тут он увидел, что моя рука скользнула к кобуре, и изменил выражение: — За пределы желания достать этот рецепт, — заключил он.

— Не такой уж вы плохой человечешко, — говорю я, стараясь быть вежливым. — Я задумал было сделать ваших овец сиротами, но на этот раз позволю вам улететь. Но помните: при-

ставяйте к блинчикам, да покрепче, как средний блин к торке, и не вздумайте смешать подливку с сентиментами, не то у вас на ранчо будет пение, а вы его не услышите.

— Чтобы убедить вас в своей искренности, — говорит овцевод, — я прошу вас помочь мне. Мисс Лирайт и вы больше друзья, и, может быть, она сделает для вас то, чего не сделала для меня. Если вы достанете мне этот рецепт, то, даю вам слово, я никогда к ней больше не поеду.

— Вот это по-честному, — сказала я и пожал руку Джексона Птицы. — Я рад услужить и сделаю все, что смогу.

Он повернул к большой заросли кактусов на Пьедре, в направлении Шелудивого Осла, а я взял курс на северо-запад, к ранчо старика Билла Туми.

Только пять дней спустя мне удалось снова заехать на Пиминенту. Мы с мисс Уиллелой очень мило провели вечерок у дядюшки Эмсли. Она спела кое-что и порядочно потеряла папино цитатки из опер. А я избрал гремячую змею и рассказал ей о новом способе обдирать коров, придуманном Снеж Мак-Фи, и о том, как я однажды ездил в Сент-Луис. Наше взаимное расположение крепло вовсю. И вот, я думаю, если теперь мне удастся убедить Джексона Птицу совершить перелет, дело в шляпе. Тут я вспоминаю его обещание насчет рецепта блинчиков и решаю выведать его у мисс Уиллелы и сообщить ему. И уж тогда, если я снова поймаю птичку из Шелудивого Осла, я ей подрезу крылышки.

И вот часов около десяти я набрасываю на лицо лютящую улыбку и говорю мисс Уиллеле: «Знаете, если мне что-нибудь и нравится больше вида рыжего быка на зеленой траве, так это вкус хорошего горячего блинчика с паточной смажкой».

Мисс Уиллела слегка подпрыгнула на фортепьянной табуретке и странно на меня посмотрела.

— Да, — говорит она, — это действительно вкусно. Как, вы сказали, называется эта улица в Сент-Луисе, мистер Одом, где вы потеряли шляпу?

— Блинчиковая улица, — говорю я, подмигнув, чтобы показать, что мне, мол, известно о фамильном рецепте и меня не проведете. — Что-го уж там, мисс Уиллела, — говорю я, — рассказывайте, как вы их делаете. Блинчики так и вертятся у меня в голове, как фурунковые колеса. Да уж же... фунт крупчатки, восемь дюжины яиц и так далее. Что там значится в каталоге ингредиентов?

— Извините меня, я на минуточку, — говорит мисс Уиллела, окидывает меня боковым взглядом и соскальзывает с табуретки. Она рысью выбежала в другую комнату, и вслед за тем оттуда выходит ко мне дядюшка Эмсли в своей жилетке и с кувшином воды. Он поворачивается к столу за стаканом, и я вижу в его заднем кармане многозарядку.

«Ну и ну! — думаю я. — Эта семейка, видно, задорожит своими кулинарными рецепта-

ми, коли защищает их с оружием. Я звал семью, так они не стали бы к нему прибегать даже при фамильной вражде».

— Выпейте-ка вот это, — говорит дядюшка Эмсли, протягивая мне стакан воды. — Ты слишком много ездил сегодня верхом, Джек, и все по солнцу. Попытайся думать о чем-нибудь другом.

— Ты знаешь, как печь блинчики, дядя Эмсли? — спросил я.

— Ну, я не ахти как осведомлен в их анатомии, — говорит дядюшка Эмсли, — но мне кажется, надо взять побольше сковородок, немного теста, соды и кукурузной муки и смешать все это, как водится, с яйцами и сывороткой. А что, Джек, старик Билл опять собирается по весне гнать скот в Канзас-Сити?

Только эту блинчиковую спецификацию мне и удалось получить в тот вечер. Не удивительно, что Джексон Птица оскеса на этом деле. Одним словом, я бросил эту тему и немного поговорил с дядюшкой Эмсли о скоте и циклонах. А потом вошла мисс Уиллела и сказала: «Спокойной ночи», и я помчался к себе на ранчо.

Неделю спустя я встретил Джексона Птицу, когда он уезжал от дядюшки Эмсли, а я направлялся к нему. Мы остановились на дороге и перекинулись пустяковыми замечаниями.

— Что, еще не достали список деталей для ваших румяничков? — спросил я его.

— Представьте, нет, — говорит Джексон, — и, по всей видимости, у меня ничего не выйдет. А вы пытались?

— Пытался, — говорю я, — да это все равно что выманывать из норы луговую собачку ореховой скорлупой. Этот блинчиковый рецепт — талисман какой-то, судя по тому, как они за него держатся.

— Я почти готов отступить, — говорит Джексон с таким отчаянием в голосе, что я почувствовал к нему жалость. — Но мне страшно хочется знать, как печь эти блинчики, чтобы лакомиться ими на моем одиноком ранчо. Я не сплю по ночам, все думаю, какие они замечательные.

— Продолжайте добиваться, — говорю я ему, — и я тоже буду. В конце концов кто-нибудь из нас да накинет аркан ему на рога. Ну, до свидания, Джекси.

Сам видишь, что в это время мы были в наимирнейших отношениях. Когда я убедился, что он не гонится за мисс Уиллелой, я с большим терпением созерцал этого рыжего заморыша. Желая удовлетворить запросы его аппетита, я по-прежнему пытался выманить у мисс Уиллелы заветный рецепт. Но стоило мне сказать слово «блинчики», как в ее глазах появлялся оттенок туманности и беспокойства и она старалась переменить тему. Если же я на нее наседал, она выскальзывала из комнаты и высылала ко мне дядюшку Эмсли с кувшином воды и карманной гаубицей.

Однажды я прискакал к лавочке с большим букетом голубой вербены — я набрал его

в стаде диких цветов, которое паслось на лугу Отравленной Собаки. Дядюшка Эмсли посмотрел на букет прищурясь и говорит:

— Не слышал новость?

— Скот вздорожал?

— Уиллела и Джексона Птица повенчались вчера в Палестине, — говорит он. — Сегодня утром получил письмо.

Я уронил цветы в бочонок с сухарями и выждал, пока новость, отзвенев в моих ушах и скользя к верхнему левому карману рубашки, не ударила мне, наконец, в ноги.

— Не можешь ли ты повторить еще раз, дядюшка Эмсли, — говорю я, — может быть, слух изменил мне и ты лишь сказал, что первоклассные телки идут по четыре восемьдесят за голову или что-нибудь в этом роде?

— Повенчались вчера, — говорит дядюшка Эмсли, — и отправились в свадебное путешествие в Вако и на Ниагарский водопад. Неужели ты все время ничего не замечал? Джексона Птица ухаживал за Уиллелой с того самого дня, как он пригласил ее покататься.

— С того самого дня! — завопил я. — Какого же черта он болтал мне про блинчики? Объясни ты мне...

Когда я сказал «блинчики», дядюшка Эмсли подскокил и попятился.

— Кто-то меня разыграл с этими блинчиками, — говорю я, — и я дознаюсь. Тебе-то уж наверное все известно. Выглядывай, или я, не сходя с места, замешу из тебя оладьи.

Я перемахнул через прилавок к дядюшке Эмсли. Он схватился за кобуру, но его пулемет был в ящике, и он не дотянулся до него на два дюйма. Я ухватил его за ворот рубахи и толкнул в угол.

— Рассказывая про блинчик, — говорю я, — или сам превратишься в блинчик. Мисс Уиллела печет их?

— В жизни ни одного не испекла, а я так их вовсе не видел, — убедительно говорит дядюшка Эмсли. — Ну, успокойся, Джек, успокойся. Ты разволновался, и раина в голове затемняет твой рассудок. Старайся не думать о блинчиках.

— Дядюшка Эмсли, — говорю я, — я не ранил в голову, но я, видно, растерял свои природные мыслительные способности. Джексона Птица сказал мне, что он навещает мисс Уиллелу, чтобы выведать ее способ приготовления блинчиков, и просил меня помочь ему достать список ингредиентов. Я помог, и результат налицо. Что он сделал, этот красноглазый овчар, накормил меня беленой, что ли?

— Отпусти-ка мой воротник, — говорит дядюшка Эмсли, — и я расскажу тебе. Да, похоже на то, что Джексона Птица малость тебя одурачил. На следующий день после катания с Уиллелой он снова приехал и сказал нам, чтобы мы остерегались тебя, если ты вдруг заговоришь о блинчиках. Он сказал, что однажды у вас в лагере пекли блинчики и кто-то из ребят треснул тебя по башке сковородкой. И после этого, мол,

стоит тебе разгорячиться или взволноваться, рана начинает тебя беспокоить и ты становишься вроде как сумасшедшим и бредишь блинчиками. Он сказал, что нужно только отвлечь твои мысли и успокоить тебя, и ты не опасен. Ну вот, мы с Уиллелой и старались как могли. Н-да, — говорит дядюшка Эмсли, — таких овчаров, как этот Джексона Птица, не часто встретишь.

Рассказывая свою историю, Джек не спеша, но ловко смешивал соответствующие порции из своих мешочков и баночек. К концу рассказа он поставил передо мной готовый продукт — пару румяных и пышных блинчиков на оловянной тарелке. Из какого-то секретного хранилища он извлек впридачу кусок превосходного масла и бутылку золотистого сиропа.

— А давно это было? — спросил я.

— Три года прошло, — сказал Джек. — Они живут на ранчо Шелудивого Осли. Но я ни его, ни ее с тех пор не видал. Говорят, что Джексона Птица украшал свою ферму качалками и гардинами все время, пока морочил мне голову этими блинчиками. Ну, я погоревал да и бросил. Но ребята до сих пор надо мной смеются.

— А эти блинчики ты делал по знаменитому рецепту? — спросил я его.

— Я же тебе говорю, что никакого рецепта не было, — сказал Джек. — Ребята все кричали о блинчиках, пока сами на них не помешались, и я вырезал этот рецепт из газеты. Как на вкус?

— Чудесно, — ответил я. — Отчего ты сам не попробуешь, Джек?

Мне послышался вздох.

— Я? — спросил Джек. — Я их в рот не беру.

САНАТОРИЙ НА РАНЧО

Если вы следите за хроникой ринга, вы легко припомните этот случай. В начале девяностых годов по ту сторону одной пограничной реки состоялся встреча чемпионона с претендентом на это звание, длившаяся всего минуту и несколько секунд.

Столь короткая схватка — большая редкость и форменное надувательство, так как она обманывает ожидания ценителей настоящего спорта. Репортеры постарались выжать из нее все возможное, но если отбросить то, что они присосчитали, схватка выглядела до грусти неинтересной. Чемпион просто швырнул на пол свою жертву, повернулся к ней спиной и, проворчав: «Я знаю, что этот труп уже не встанет», протянул секунданту длинную, как мачта, руку, чтобы он снял с нее перчатку.

Этим и объясняется то обстоятельство, что на следующее утро, едва забрезжил рассвет, полный пассажирский комплект донелоза раздосадованных джентльменов в модных жилетах и буйно пестрых галстуках выспал из пульмановского вагона на вокзале в Сан-Антонио.

Этим же объясняется отчасти и то плачевное положение, в котором оказался «Сверчок» Мак-Гайр, когда он выскочил из вагона и повалился на платформу, раздираемый на части сухим, лающим кашлем, столь привычным для слуха обитателей Сан-Антонио. Случилось, что в это же время Кэртис Рейдлер, скотовод из округа Нуэзес, — да будет над ним благословение божье! — проходил по платформе в бледных лучах утренней зари.

Скотовод поднялся спозаранку, так как спешил домой и хотел захватить поезд, отходивший на юг. Остановившись возле незадачного покровителя спорта, он пронзительно участливо, с характерным для техасца тягучим акцентом:

— Что, худо тебе, бедняжка?

«Сверчок» Мак-Гайр — бывший боксер века пера, жюкей, жучок, специалист в три листика и завсегдатая баров и спортивных клубов — воинственно вскинул глаза на человека, обозвавшего его «бедняжкой».

— Катись, Телеграфный Столб, — прохрипел он. — Я не звонил.

Новый приступ кашля начал выворачивать его наизнанку, и, обесцельный, он привалился к багажной тележке. Рейдлер терпеливо ждал, пока пройдет кашель, поглядывая на белые шляпы, короткие пальто и толстые сигары, загромодившие платформу.

— Ты, верно, с севера, сынок? — спросил он, когда кашель стал утихать. — Ездил поглядеть на бокс?

— Бокс! — фыркнул Мак-Гайр. — Игра в пятнашки! Дал ему раз и уложил на пол быстрой, чем врач укладывает больного в могилу. Бокс! — Он поперхнулся, закашлялся и продолжал, не столько адресуясь к скотоводу, сколько стремясь отвести душу: — Верный выигрыш! Нет уж, больше меня на эту удочку не поймать. А ведь на такую приманку клюнул бы и сам Рокфеллер. Пять против одного, что этот пареня из Корка не продержится трех раундов — вот же я на что ставил! Всё вложил, до последнего цента, и уже чуял запах опилок в этом ночном кабаке на Тридцать седьмой улице, который я сторговал у Джима Дилэнни. И вдруг... Ну, скажите хоть вы, Телеграфный Столб, каким нужно быть оборотом, чтобы всадить свое последнее достоинство в одну встречу двух остопадов?

— Что верно, то верно, — сказал могучий скотовод. — Особенно, если денежки-то ухнули. А тебе, сынок, лучше бы пойтн в гостиницу. Это скверный кашель. Легкие?

— Да, нелегкая их возьми! — последовал исчерпывающий ответ. — Заполучил удовольствие. Старый филли сказал, что я протяну еще с полгода, а может, и с год, если перемену аллюр и буду держать себя в узде. Вот я и хотел осесть где-нибудь и взяться за ум. Может, я потому и ринкнул на пять против одного. У меня была припасена железная тысяча долларов. В случае выигрыша кафе Дилэнни перешло бы ко мне. Ну, кто мог подумать, что эту дубину уложат в первом же раунде?

— Даже повезло тебе, — сказал Рейдлер, глядя на миниатюрную фигурку Мак-Гайра, прислонившуюся к тележке. — А сейчас, сынок, пойдн-ка ты в гостиницу и отдохни. Здесь есть «Минджер», и «Мавернк», и...

— И «Пятая авеню», и «Уоллдорф-Астория», — передразнил его Мак-Гайр. — Вы что, не слышали? Я прогорел. У меня нет ничего, кроме этих шанов и одной монеты в десять центов. Может, мне было бы полезно отправиться в Европу или совершить путешествие на собственной яхте?.. Эй, газету!

Он бросил десять центов мальчишке-газетчику, схватил «Экспресс» и, при moistившись поудобнее к тележке, погрузился в отчет о своем Ватерлоо, раздутым по мере сил изобретательной прессой.

Кэртис Рейдлер поглядел на свои огромные золотые часы и тронул Мак-Гайра за плечо.

— Пойдем, сынок, — сказал он. — Осталось три минуты до поезда.

Сарказм, по-видимому, был у Мак-Гайра в крови.

— Вы что — видели, как я сорвал банк в железку или выиграл пари, после того как минуту назад я сказал вам, что у меня нет ни гроша? Ступайте своей дорогой, приятель.

— Ты поедешь со мной на мое ранчо и будешь жить там, пока не поправишься, — сказал скотовод. — Через полгода ты забудешь про свою хворь, малыш. — Одной рукой он приподнял Мак-Гайра и повлек его к поезду.

— А чем я буду платить? — спросил Мак-Гайр, делая слабые попытки освободиться.

— Платить? За что? — удивился Рейдлер. Они озадаченно уставились друг на друга. Мысли их вертелись, как шестеренки конической зубчатой передачи, — у каждого вокруг своей оси и в противоположных направлениях.

Пассажиры поезда, ндущего на юг, с любопытством поглядывали на эту пару, дивясь столь редкостному сочетанию противоположностей. Мак-Гайр был ростом пять футов один дюйм. По внешности он мог оказаться уроженцем Дублина, а быть может, и Иокогамы. Острый взгляд, острые скулы и подбородок, шрамы на костлявом дерзком лице, сухое жилистое тело, побывавшее во многих переделках, — этот пареня, задирный с виду, как шершень, не был изыскан новым или необычным в этих краях. Рейдлер вырос на другой почве. Шести футов двух дюймов росту и необаятной ширны в плечах, он был, что называется, душа нараспашку. Запад и Юг соединились в нем. Представители этого типа еще мало воспроизводились на полотно, ибо наши картинные галереи миниатюрны, а кинематограф пока не получил распространения в Техасе. Достоин запечатлеть образ такого детины, как Рейдлер, могла бы, пожалуй, только фреска — нечто огромное, спокойное, простое и не заключенное в раму.

Экспресс мчал их на юг. Зеленые просторы прерий наступали на леса, дробя их, превращая

в разбросанные на широком пространстве темные кupy деревьев. Это была страна ранчо, владения коровьих королей.

Мак-Гайр сидел, забившись в угол, н с острым недоверием прислушивался к словам скотовода. Какую штуку задумал сыграть с ним этот здоровенный старичина, который ташит его неизвестно куда? То, что он руководит бескорыстное участие, меньше всего могло прийти Мак-Гайру на ум. «Он не фермер, — рассуждал пленник, — да и на жулика не похож. Что ж это за птица? Ну, глядя в оба, «Сверчок», — не крапленая ли у него колода? Теперь уж хочешь не хочешь, а деваться некуда. У тебя скоротечная чахотка н пять центов в кармане, так что сиди тихо. Сиди тихо и гляди, что он там замышляет».

В Ринконе, в ста милях от Сан-Антонио, они сошли с поезда н пересели в таратайку, которая ждала Рейдлера на станции, после чего покрылн еще тридцать миль, прежде чем добрались до места своего назначения. Именно эта часть путешествия могла бы, казалось, открыть подозрительному Мак-Гайру глаза на подлинный смысл его пленения. Они катили на бархатных колесах по ликующему раздолью саванны. Пара резвых испанских лошадок бежала ровной, неутомимой рысью, порой по собственному почину пускаясь вскачь. Воздух пьянил, как вино, н освежал, как сельтерская, н с каждым глотком его путешественники вдыхали нежное благоухание полевых цветов. Дорога понежному затерялась в траве, н таратайка поплыла по зеленым степным бурунам, направляемая опытной рукой Рейдлера, которому каждая едва приметная рошица, мелькнувшая вдали, служила знакомой вехой, каждый мягкий изгиб холмов на горизонте указывал направление н отмечал расстояние. Но Мак-Гайр, откинувшись на сиденье, с угрюмым недоверием внимал скотоводу н не видел вокруг себя ничего, кроме безлюдной пустыни.

«Что он замышляет? — тяготила его неотвязная мысль. — Какую аферу обмозговал этот верзила?» Среди необозримых просторов, ограниченных только линией горизонта да четвертым измерением, Мак-Гайр подходил к людям с меркой жителя тесных городских кварталов.

Неделей раньше, проезжая верхом по прерии, Рейдлер наткнулся на большого теленка, который жалобно мычал, отбившись от стада. Не спешиваясь, Рейдлер нагнулся, переброем через седло этого горемыку н передал на попечение своих ковбоев на ранчо. Откуда было Мак-Гайру знать, — да и как бы вместилось это в его сознание, — что он в глазах Рейдлера был примерно то же, что этот теленок, — большое, беспомощное создание, нуждавшееся в чьей-то заботе. Рейдлер увидел, что он может помочь, н этого было для него достаточно. С его точки зрения все это было вполне логично, а значит, н правильно. Мак-Гайр был седым по счету недужным, которого Рейдлер случайно подобрал в Сан-Антонио, куда в погоне за озоном, застревающим якобы в его узких улочках, ты-

сячами стекаются большие чахоткой. Пятеро из его гостей жили на ранчо Солито, пока не выздоровели или не окрепли, н со слезами благодарности на глазах распространились с гостеприимным хозяином. Шестой попал сюда слишком поздно, но, отмучившись, обрел в конце концов вечный покой в тихом углу сада под раскидистым деревом.

Поэтому никто на ранчо не был удивлен, когда таратайка подкатила к крыльцу н Рейдлер извлек оттуда своего больного протеже, подняв его, словно узел тряпья, н водворил на веранду.

Мак-Гайр окинул взглядом непривычную для него картину. Дом на ранчо Солито считался лучшим в округе. Он был сложен из кирпича, привезенного сюда на лошадях за сотню миль, но имел всего один этаж, в котором размещались четыре комнаты, окруженные верандой с земляным полом, носившей название «галерейки». Пестрый ассортимент лошадей, собак, седел, повозок, ружей н всевозможных принадлежностей ковбойского обихода поразил столбичное око прогоревшего спортсмена.

— Вот мы н дома, — весело сказал Рейдлер.

— Ну, и чертова же дыра! — выпалил Мак-Гайр н покатила на пол веранды в судорожном приступе кашля.

— Мы постараемся устроить тебя поудобнее, сынок, — мягко сказал хозяин. — В доме у нас, конечно, не шикарно, но зато на воле хорошо, а для тебя ведь это самое главное. Вот твоя комната. Что понадобится — спрашивай, не стесняйся.

Рейдлер ввел Мак-Гайра в комнату, расположенную на восточной стороне дома. Незастеленный пол был чисто вымыт. Свежий ветерок колыхал белые занавески на окнах. Большое плетеное кресло-качалка, два простых стула н длинный стол, заваленный газетами, трубками, табакон, шпорамн н ружейными патронами, стояли в центре комнаты. Несколько хорошо выделанных оленьих голов н одна огромная, черная, кабанья смотрели со стен. В углу помещалась широкая парусиновая складная кровать. В глазах всех окрестных жителей комната для гостей на ранчо Солито была резиденцией, достойной принца. Мак-Гайр при виде ее широко осклабился. Он вытащил из кармана свои пять центов н подбросил их в потолок.

— Вы думали, я вру насчет денег? Вот, можете, теперь меня обыскать, если вам угодно. Это было последнее из моих сокровищ. Ну, кто будет платить?

Ясные серые глаза Рейдлера твердо взглянули из-под седеющих бровей прямо в черные бусинки глаз Мак-Гайра. Немного помолчав, он сказал просто, без гнева:

— Ты меня очень обяжешь, сынок, если не будешь больше помнить о деньгах. Раз сказал, н хватит. Я не беру со своих гостей платы; да они обычно н не предлагают мне ее. Ужин будет готов через полчаса. Вот тут вода в кувшине,

уши в том, красном, что висит на галерейке, — похолоднее, для питья.

— А где звонок? — озираясь по сторонам, спросил Мак-Гайр.

— Звонок? А для чего?

— Звонить. Когда что-нибудь понадобится. Я же не могу... Послушайте, вы! — закричал он вдруг, охваченный бессильной злобой. — Я не просил вас тащить меня сюда! Я не кланчил у вас денег! Я не старался разжалобить вас — вы ко мне пристали! Я болен! Я не могу двигаться! А тут за пятьдесят миль кругом ни коридорного, ни коктейля! О черт! Как я влип! — И Мак-Гайр повалился на койку и судорожно разрыдался.

Рейдлер подошел к двери и позвал слугу. Стройный краснощекий мексиканец лет двадцати быстро вошел в комнату. Рейдлер заговорил с ним по-испански.

— Иларио, поминись, я обещал тебе с этим местом в лагере Сан-Карлос?

— Si, Señor, такая была ваша милость.

— Ну, слушай. Это Señorito — мой друг. Он очень болен. Будешь ему прислуживать. Находишь неотлучно при нем, исполняй все его распоряжения. Тут нужна забота, Иларио, и терпение. А когда он поправится или... а когда он поправится, я сделаю тебя не вакего, а mayordomo¹ на ранчо де ля Пьедрас. Esta bueno?²

— Si, si, mil gracias, Señor!³ — Иларио в знак благодарности хотел было опуститься на одно колено, но Рейдлер шутливо пинул его ногой, прорывчав:

— Ну, ну, без балетных номеров...

Десять минут спустя Иларио, покинув комнату Мак-Гайра, предстал перед Рейдлером.

— Маленький Señor, — заявил он, — шлет вам поклон (Рейдлер отнес это вступление за счет любезности Иларио) и просит передать, что ему нужен колотый лед, горячая ванна, гренки, одна порция джина с сельтерской, закрыть все окна, позвать парикмахера, одна пачка сигарет, «Нью-геральд» и отправить телеграмму.

Рейдлер достал из своего аптечного шкафа бутылку виски.

— Вот, отнеси ему, — сказал он.

Так на ранчо Солито установился режим террора. Первые недели Мак-Гайр хвастал напропалую и страшно заносился перед ковбоями, которые стезжились с самых отдаленных пастбищ поглядеть на последнее приобретение Рейдлера. Мак-Гайр был совершенно новым для них явлением. Он посвящал их в различные тонкости боксерского искусства, щеголяя хитроумными приемами защиты и нападения. Он раскрывал их изумленному взору всю изнанку жизни профессиональных спортсменов. Они без конца дивились его речи, пересыпанной жаргонными словечками, и забавлялись ею от души. Его

жесты, его странные позы, откровенная дерзость его языка и принципов заволаживали их. Он был для них существом из другого мира.

Как это ни странно, но тот новый мир, в который он сам попал, словно не существовал для него. Он был законченным эгоистом из мира кирпича и известки. Ему казалось, что судьба зашвырнула его куда-то в пустое пространство, где он не обнаружил ничего, кроме нескольких слушателей, готовых внимать его хвастливым реминисценциям. Ни безграничные просторы залитых солнцем прерий, ни величавая тишина звездных ночей не троили его души. Все самые яркие краски Авроры не могли оторвать его от розовых страниц спортивного журнала. Прожить на шармака — было его девизом, кабак на Тридцать седьмой — венцом его стремлений.

Месяца через два он начал жаловаться, что здоровье его ухудшилось. С этого момента он стал бичом, чумой, кошмаром ранчо Солито. Словно какой-то злой гиом или капризная женщина, сидел он в своем углу, хныча, скуля, обвиняя и проклиная. Все его жалобы звучали на один лад: его против воли ввергли в эту геинию огненную, где он гибнет от отсутствия ухода и комфорта. Однако вопреки его отчаянным воплям, что ему якобы день ото дня становится хуже, с виду он несколько не изменился. Все тот же дьявольский огонек горел в черных бусинках его глаз, голос его звучал все так же резко, тощее лицо — кости, обтянутые кожей, — достигнув предела худобы, уже не могло отстать больше. Лихорадочный румянец, вспыхивавший по вечерам на его торчащих скулах, наводил на мысль о том, что термометр мог бы, вероятно, зафиксировать болезненное состояние, а выслушивание — установить, что Мак-Гайр дышит только одним легким, но внешний облик его не изменился ни на йоту.

Иларио беспрестанно прислуживал ему. Обещанное повышение в чине, как видно, было для юноши большой приманкой, ибо горше горького стало его существование при Мак-Гайре. По распоряжению больного, все окна в комнате были наглухо закрыты, шторы спущены и всякий доступ свежего воздуха прекращен. Так Мак-Гайр лишил себя своей единственной надежды на спасение. В комнате нельзя было продохнуть от едкого табачного дыма. Кто бы ни зашел к Мак-Гайру, должен был сидеть, задыхаясь в дыму, и слушать, как этот бесенок хвастает напропалую своей скандальной карьерой.

Но всего удивительнее были отношения, установившиеся у Мак-Гайра с хозяином дома. Большой третирировал своего благодетеля, как своеиранный, избалованный ребенок третирирует не в меру синсходительного отца. Когда Рейдлер отлучался из дома, на Мак-Гайра нападала хандра и он замыкался в угрюмом молчании. Но стоило Рейдлеру переступить порог, и Мак-Гайр набрасывался на него с самыми колкими, язвительными упреками. Поведение Рейдлера по отношению к своему подопечному было в такой

¹Старший объездчик (исп.).

²Хорошо? (исп.)

³Па, да, спасибо, сеньор! (исп.)

же, мере, непостижимо. Рейдлер, казалось, и сам поверил во все те страшные обвинения, которыми осыпал его Мак-Гайр, и чувствовал себя жестоким угнетателем и тираном. Он, очевидно, считал себя целиком ответственным за состояние здоровья своего гостя и с покаянным видом терпеливо и смиренно выслушивал все его нападки.

Как-то раз Рейдлер сказал Мак-Гайру:

— Попробуй больше бывать на воздухе, сынок. Бери мою таратайку и катайся хоть каждый день. А то поживи недельку-другую с ребятами на выгоне. Я бы тебя там неплохо устроил. На свежем воздухе, да к земле поближе — это бы живо поставило тебя на ноги. Я знал одного парня из Филадельфии — еще хуже болел, чем ты, а как случилось ему заблудиться на Гадалупе и две недели прожигать на овечьем пастбище да поспать на голой земле, так сразу пошел на поправку. Воздух да земля — целебная штука. А то покатайся верхом. У меня есть смиренная лошадка...

— Что я вам сделал? — взвизгнул Мак-Гайр. — Разве я вам втирал очки? Заставлял вас привозить меня сюда? Просил об этом? А теперь — катись на выгон? Да уж пырнули бы просто ножом, чего там канитель разводите! Скачи верхом! А я ног не таскаю! Понятно? Пятилетний ребенок надаёт мне тумачков — я и то не смогу увернуться. А все ваше проклятое ранчо — это оно меня доконало. Здесь нечего есть, не на что глядеть, не с кем говорить, кроме орды троглодитов, которые не отличат боксерской группы от сабата из омаров!

— У нас тут, правда, скуциновато, — смущенно оправдывался Рейдлер. — Всего вдоволь — но все простое. Ну, да если что нужно, pošлем ребят, они привезут из города.

Чэд Мерчисон, ковбой из лагеря Серил Бар, первый высказал предложение, что Мак-Гайр — притворщик и симулянт. Чэд привез для него корзину винограда за тридцать миль, привязав ее к луке седла и дав четыре мили крюку. Побыв немного в накуренной комнате, он вышел оттуда и без обиняков выложил свои поздравления хозяйню.

— Рука у него — тверже алмаза, — сказал Чэд. — Когда он познакомил меня с «прямыми короткими в солнечное заплетение», так я думал, что меня мустанг лягунул. Малый бесовисто надует вас, Кэрт. Он такой же хворый, как я. стыдно сказать, но этот недоносек просто водит вас за нос, чтоб пожить здесь на дармовщинку.

Однако прямодушный скотовод пропустил мимо ушей разоблачения Чэда, и если несколько дней спустя он подверг Мак-Гайра медицинскому осмотру, это было сделано без всякой задней мысли.

Как-то в полдень двое людей подъехали к ранчо, вылезли из повозки, привязали лошадей, зашли в дом и остались отобедать: всякий считает себя раз и навсегда приглашенным к столу — таков обычай этого края. Один из приезжих оказался медицинским светилом из Сан-Антонио, чьи дорогостоящие советы потребова-

лись какому-то кровопрому магнату, угодившему под шальную пулю. Теперь доктора везли на станцию, где он должен был сесть на поезд. После обеда Рейдлер отозвал его в сторонку и, тыча двадцатидолларовую бумажку ему в руку, сказал:

— Доктор, не откажитесь посмотреть одного паренка — он тут в соседней комнате. Боясь, что у него чихотка в последней стадии. Мне бы хотелось узнать, очень ли он плох и что мы можем для него сделать.

— Сколько я вам должен за обед, которым вы меня угостили? — проворчал доктор, взглянув поверх очков на хозяйню. Рейдлер сунул свои двадцать долларов обратно в карман. Доктор без замедления проследовал в комнату к Мак-Гайру, а скотовод опустился на кучу сидел, наваленную в углу галерейки, и приготовился проклясть себя, если медицинское заключение окажется неблагоприятным.

Через несколько минут доктор бодрым шагом вышел из комнаты Мак-Гайра.

— Ваш малый, — сказал он Рейдлеру, — здоровее меня. Легкие у него чисты, как только что отпечатанный доллар. Пульс нормальный, температура и дыхание — тоже. Выдох — четыре дюйма. Ни малейших признаков заболевания. Конечно, я не делал бактериологического анализа, но ручаюсь, что туберкулезных бацилл у него нет. Можете поставить мое имя под диагнозом. Даже табак и спертый воздух ему не повредили. Он кашляет? Так скажите ему, что это не обязательно. Вас интересует, что можно для него сделать? Мой совет — пошлите его ставить телеграфные столбы или обжевать мустангов. Ну, наши лошади готовы. Счастливого оставаться, сэр. — И, как порыв живительного освежающего ветра, доктор помчался дальше.

Рейдлер сорвал листок с мескитового куста у перил и принялся задумчиво жевать его.

Приближался сезон клейнения скота, и на следующее утро Росс Харгис, старший загонщик, собрал во дворе ранчо два с половиной десятка своих ребят, чтобы отбыть с ними в лагерь Сан-Карлос, где должны были начаться работы. В шесть часов лошади были оседланы, провизия погружена в фургон, и ковбою один за другим уже вскакивали в седла, когда Рейдлер попросил их немного обождать. Мальчишковых подвел к воротам еще одну ввунзланную и оседланную лошадь. Рейдлер направился к комнате Мак-Гайра и широко распахнул дверь. Мак-Гайр, не одетый, лежал на койке и курил.

— Подымайся! — сказал скотовод, и голос его прозвучал отчетливо и резко, как медь охотничьего рога.

— Что такое? — оторопело спросил Мак-Гайр.

— Вставай и одевайся. Я бы мог терпеть в своем доме гремучую змею, но обманщику здесь не место. Ну! Сколько раз повторяю! — Схватив Мак-Гайра за шиворот, он стащил его с постели.

— Послушайте, приятель! — в бешенстве

вскричал Мак-Гайр: «Вы что — белены объелись? Я же болен — не видите, что ли? Я подохну, если сдвинусь с места! Что я вам сделал? Разве я просил?...» захныкал он было на привычный лад.

— Одевайся! — сказал Рейдлер, повывис голос.

Путаясь в одежде, бормоча ругательства и не своя изумленного взора с грозной фигуры разярленного скотовода, Мак-Гайр кое-как, дрожащими руками, натянул на себя штаны и рубашу. Рейдлер снова схватил его за шиворот и поволок через двор к привязанной у ворот лошади. Ковбои почтительно в седлах, разинув рты.

— Возьми с собой этого малого, — сказал Рейдлер Россу Харгису, — и приставь его к работе. Пусть работает, как надо, спит, где придется, и ест, что дадут. Вы знаете, ребята, — я делал для него все, что мог, и делал от души. Вчера лучший доктор из Сан-Антонио осмотрел его и сказал, что легкие у него, как у мула, и вообще он здоров, как бык. Словом, поручаю его тебе, Росс.

Росс Харгис только хмуро улыбнулся в ответ.

— Вот оно что! — протянул Мак-Гайр, с какой-то странной ухмылкой глядя на Рейдлера. — Так старый филин сказал, что я здоров? Он сказал, что я симулянт, так, что ли? А вы, значит, подослали его ко мне? Вы думали, что я прикидываюсь? Я, по-вашему, обманщик. Послушайте, приятель, я часто был груб, я знаю, но ведь это только так... Если бы вы побывали хоть раз в моей шкуре... Да, я позабыл... Я же здоров... Так сказал старый филин. Ладно, дружище, я отработаю вам. Вот когда вы со мной посчитались!

Легко, как птица, он взлетел в седло, схватил хлыст, положенный на луку, и стегнул коня. «Сверчок», который на скачках в Хотории привел когда-то «Мальчика» первым к финишу, повывис выдачу до десяти к одному, снова вдел ногу в стремя.

Мак-Гайр был впереди, когда кавалькада, вылетев за ворота, взяла направление на Сан-Карлос, в вдогонку ему несло одобрительное гиканье ковбоев, скакавших в поднятых им клубах пыли.

Но, не покрыв и мили, он стал отставать и уже плелся в хвосте, когда всадники, миновав выгоны, продолжали путь среди высоких зарослей чапаралля. Заехав в чащу, он натянул повода и, вытаскив платок, прижал его к губам. Платок окрасился алой кровью. Он забросил его в колочие кусты и, прохрипев своему удивленному коню «катись!», — поскакал следом за ковбоями.

Вечером Рейдлер получил письмо из своего родного городка в Алабаме. Умер один из его родственников, и Рейдлера просили приехать, чтобы принять участие в дележке наследства. На рассвете он уже катил в своей таратайке по прерии, спеша на станцию.

Домой он возвратился только через два месяца. Усадьба опустела — он застал там только

одного Иларио, который в его отсутствие приглядывал за домом. Юноша стал рассказывать ему, как шли дела, пока хозяин был в отлучке. С клеймением скота еще не управились, сказал он. Было много ураганов, скот разбегался, и клеймение подвигается туго. Лагерь сейчас в долине Гвадалупы — в двадцати милях от усадьбы.

— Да, между прочим, — сказал Рейдлер, внезапно припомнив что-то. — Как этот парень, которого я отправил с ребятами в лагерь, Мак-Гайр? Работает он?

— Не знаю, — отвечал Иларио. — Ковбои редко заглядывают теперь на ранчо. Очень много хлопот с молодыми телятами. Нет, ничего про него не слышал. Верно, его уже давно нет в живых.

— Что ты мелешь? — сказал Рейдлер. — Как это — нет в живых?

— Очень, очень он был плох, этот Мак-Гайр, — сказал Иларио, пожимая плечами. — Я знал, что ему не прожить и месяца, когда он уезжал отсюда.

— Вздор! — проворчал Рейдлер. — Я вижу, он и тебя одурачил. Доктор осмотрел его и сказал, что он здоров, как мексиканская коряга.

— Это он так сказал? — спросил Иларио, ухмыляясь. — Этот доктор даже не видел его.

— Говори толком! — приказал Рейдлер. — Какого черта ты меня морочишь?

— Мак-Гайр, — спокойно сказал Иларио, — пил воду из галерейки, когда этот доктор прибежал в комнату. Он сразу схватил меня и давай стучать по мне пальцами — вот тут стучал и тут. — Иларио показал на грудь. — Я так и не понял зачем. Потом он стал прикладываться ухом и все что-то слушал. Вот тут слушал и тут. А зачем? Потом достал какую-то стеклянную палочку и сунул мне в рот. Потом схватил меня за руку и начал ее шупать — вот так. И еще велел мне считать тихим голосом двадцать, trenta, cuarenta¹. Кто его знает, — закончил Иларио, в недоумении разводя руками, — зачем он все это делал? Может, хотел пошутить?

— Какие лошади дома? — только и спросил Рейдлер.

— Пайсаио пасется за маленьким кораллем, Señor.

— Оседлай его, живо!

Через несколько минут Рейдлер вскочил в седло и скрылся из виду. Пайсаио, недаром названный в честь этой невзрачной с виду, но быстрого птицы, мчал во весь опор, пожирая ленты дорог, как макароны. Через два часа с небольшим Рейдлер с невысокого холма увидел лагерь, раскинувшийся у излучины Гвадалупы. С замранением сердца, страшась услышать самое худшее, он подъехал к лагерю, спешился и бросил повода. В простоте душевной он уже считал себя в эту минуту убийцей Мак-Гайра.

В лагере не было ни души, кроме повара,

¹Тридцать, сорок (исп.).

который, поджидая ковбоев к ужину, раскладывал по тарелкам огромные куски жареной говядины и ставил на столе железные кружки для кофе. Рейдлер не решился сразу задать терзающий его вопрос.

— Все благополучно в лагере, Пит? — неуверенно спросил он.

— Да так себе, — сдержанно отвечал Пит. — Два раза сидели без провизии. Ураган наделал бед — облизали все заросли на сорок миль вокруг, пока собрал скот. Мне нужен новый кофейник. Москиты в этом году совсем осатадели.

— А ребята как... все здоровы?

Пит не отличался оптимизмом. К тому же справляться о здоровье ковбоев было не только явно излишне, но граничило со слюнтяйством. Странно было слышать такой вопрос из уст хозяина.

— Тех, что остались, не приходится по два раза звать к столу, — проронил он наконец.

— Тех, что остались? — хрипло повторил Рейдлер. Он невольно оглянулся, ища глазами могилу Мак-Гайра. Ему уже мерещилась каменная белая плита вроде той, что он видел недавно на кладбище в Алабаме. Но он тут же опомнился, сообразив, что это не-лепо.

— Ну да, — сказал Пит. — Тех, что остались. В ковбойском лагере бывают перемены — за два-то месяца. Кой-кого уже нет.

Рейдлер собрался с духом.

— А этот парень, которого я прислал сюда, — Мак-Гайр... Он не...

— Слушайте, — перебил его Пит, поднимаясь во весь рост с толстым ломом кукурузного хлеба в каждой руке. — Как это у вас хватило совести прислать такого больного парнишку в ковбойский лагерь? Этому вашему доктору, который не мог распознать, что малый уже одной ногой стоит в могиле, надо бы спустить всю шкуру хорошей подругой с медными пряжками. А уж и боевой же парень! Вы знаете, что он выкинул — скандал да и только! В первый же вечер ребята решили посвятить его в «ковбойские рыцари». Росс Харгис вытнул его разок кожаными гетрами, и как вы думаете, что сделал этот несчастный ребенок? Вскочил, чертенок эдакий, и вздул Росса Харгиса. Ну да, вздул Росса Харгиса. Всыпал ему, как надо. Выдал ему крепко, хорошую порцию. Росс встал и тут же поплелся искать местечко, где бы снова прилечь. А этот Мак-Гайр отошел в сторонку, повалился лицом в траву и стал харкать кровью. Кровохарканье — так это и называется, передайте вашему коновалу. Восемнадцать часов по часам пролежал он так, и никто не мог сдвинуть его с места. А потом Росс Харгис, который очень любит тех, кому удалось его вздуть, взялся за дело и проклял всех докторов от Гренландии до Китайландии. Вдвоем с Джонсоном Зеленой Веткой они перетащили Мак-Гайра в палатку и стали наперебой пичкать его сырым мясом и отпаивать виски.

Но у малого, как видно, не было охоты идти

на поправку. Ночью он удрал из палатки и опять зарылся в траву — а тут еще дождь моросил. «Катитесь!» — говорит он им. — Дайте мне спокойно помереть. Он сказал, что я обманщик и симулянт. Ну, и отвяжитесь от меня!»

— Две недели провалялся он так, — продолжал повар, — словечка ни с кем не сказал, а потом...

Топот, подобный удару грома, сотряс воздух, и два десятка молодых кентавров, вылетев из зарослей, ворвались в лагерь.

— Пресвятые драконы и гремучие змеи! — заматавшись из стороны в сторону, возопил повар. — Ребята оторвут мне голову, если я не подам им ужи через три минуты.

Но глаза Рейдлера были прикованы к маленькому загорелому паренку, который, весело блестя зубами, соскочил с лошади у ярко горевшего костра. Он не был похож на Мак-Гайра, но все же...

Секунду спустя Рейдлер тряс ему руку, схватив другой рукой за плечо.

— Сынок, сынок, ну, как ты? — с трудом выговорил он.

— Поблизе к земле, вы говорили? — заторопил Мак-Гайр, стиснув руку Рейдлера в стальном пожатии. — Я так и сделал — и вот, видите, здоров и силы прибавилось. И понял, признать, какого шута горохового я из себя разыгрывал. Спасибо, старина, что прогнали меня сюда! А здорово вышло со старым-то фильмом? Я видел в окно, как он выбивал зорю на груди у этого мексиканского парня.

— Что же ты молчал, собачья душа! — загремел скотовод. — Почему не сказал, что доктор тебя не осматривал?

— А, катитесь! Не морочьте мне голову, — проворчал Мак-Гайр, сразу ошетинившись, как бывало. — Вы меня разве спрашивали? Вы произнесли свою речь и вышвырнули меня вон, и я решил, что так тому и быть. Но знаете, приятель, эти скачки с коровами — здорово занятная штука. И ребята тут первый сорт — лучшая команда, с которой мне доводилось ездить. Вы мне разрешите остаться здесь, старина?

Рейдлер вопросительно посмотрел на Росса Харгиса.

— Этот паршивец, — нежно сказал Росс, — самый лихой загонщик на все ковбойские лагеря. А уж дерется так, что только держись.

ЯБЛОКО СФИНКСА

Отъехав двадцать миль от Парадайза и не доезжая пятнадцати миль до Сайрайз-Сити, Биллед Роз, кучер дилижанса, остановил свою упряжку. Снег валил весь день. Сейчас на ровных местах он достигал восьми дюймов. Остаток дороги, ползущей по выступам равной цепи зубчатых гор, был небезопасен и днем. Теперь же, когда снег и ночь скрыли все ловушки, ехать

дальше и думать было нечего, — так заявил Биллед Роз. Он остановил четверку здоровенных лошадей и выскочил пятерке пассажиров выводы своей мудрости.

Судья Менефи, которому мужнины, как на подносе, преподнесли руководство и инструкции, выпрыгнул из кареты первым. Трое его попутчиков, вдохновенные его примером, последовали за ним, готовые разведывать, ругаться, сопротивляться, подчиняться, вести наступление — в зависимости от того, что вздумается их предводителю. Пятый пассажир — молодая женщина — осталась в длинжансе.

Биллед остановил лошадей на плече первого горного выступа. Две поломанные изгороди окаймляли дорогу. В пятидесяти шагах от верхней изгороди, как черное пятно в белом сугробе, виднелся небольшой домик. К этому домику устремились судья Менефи и его кворта с детским гиканьем, порожденным возбуждением и сиегом. Они звали, они барабанили в дверь и окно. Встретив негостеприимное молчание, они вошли в раж, — атаковали и взяли штурмом преодолемые преграды и вторглись в чужое владение.

До наблюдателей в длинжансе доносились из захваченного дома топот и крики. Вскоре там замерцал огонь, заблестел, разгорелся ярко и весело. Потом ликующие исследователи бегом вернулись к длинжансу, пробившись сквозь крутящиеся хлопья. Голос Менефи, настроенный ниже, чем рожок, — даже оркестровый по диапазону, — возвестил о победах, достигнутых их тяжкими трудами. Единственная комната дома необитаема, сказал он, и мебели никакой нет; но имеется большой камин, а в сарайчике за домом они обнаружили солидный запас топлива. Кров и тепло на всю ночь были, таким образом, обеспечены. Билледа Роза ублажили известием о конюшне с сеном на чердаке, не настолько развалившейся, чтобы ею нельзя было пользоваться.

— Джентльмены, — заорал с козел Биллед Роз, укутанный до бровей, — отдерите мне два пролета в загородке, чтобы можно было проехать. Ведь это ж хибарка старика Редрута. Так и знал, что мы где-нибудь поблизости. Само-то в августе упрятали в желтый дом.

Четыре пассажира бодро набросились на покрытые снегом перекладки. Понукаемые кони втащили длинжанс на гору, к двери дома, откуда в летнюю пору безумие похитило его владения. Кучер и двое пассажиров начали распрягать. Судья Менефи открыл дверцу кареты и снял шляпу.

— Я вынужден объявить, мисс Гарленд, — сказал он, — что силою обстоятельств наше путешествие прервано. Кучер утверждает, что ехать ночью по горной дороге настолько рискованно, что об этом не приходится и мечтать. Придется пробить до утра под кровлей этого дома. Я заверяю вас, что вы вне всякой опасности и испытаете лишь временное неудобство. Я самолично обследовал дом и убедился, что

имеется полная возможность хотя бы охранять вас от суровости непогоды. Вы будете устроены со всем комфортом, какой позволяет обстоятельства. Разрешите помочь вам выйти.

К судье подошел пассажир, жизненным призыванием которого было размещение ветряных мельниц фирмы «Маленький Голнаф». Его фамилия была Денвуди, но это не имеет большого значения. На перегоне от Парадайза до Санрайз-Сити можно почти или совсем обойтись без фамилии. И все же тому, кто захотел бы разделить почет с судьей Медисоном Л. Менефи, требуется фамилия, как некая зацепка, на которую слава могла бы повесить свой венчик. Громко и непринужденно ветряный мельник заговорил:

— Вам, видно, придется вытряхнуться из ковчега, мисс Макфарленд. Наш вигвам не совсем «Пальмер хаус», но снегу там нет и при отъезде не будут шарить в вашем чемодане, сколько ложек вы взяли на память. Огонок мы уже развели и усадим вас на сухие шляпы, и будем отгонять мышей, и все будет очень, очень мило.

Один из двух пассажиров, которые суетились в мешанне из лошадей, упряжи, снега и саркастических наставлений Билледа Роза, крикнул в перерыве между своими добровольческими обязанностями:

— Эй, молодцы! А ну, кто-нибудь, доставьте мисс Соломон в дом! Слышите? Тпру, дявол! Стой, скотинка проклятая!

Снова приходится вежливо объясниться, что на перегоне от Парадайза до Санрайз-Сити точная фамилия — излишняя роскошь. Когда судья Менефи, пользуясь правом, которое давали ему его седни и широко известная репутация, представился пассажирке, она в ответ нежно выдохнула свою фамилию, которую уши пассажиров мужского пола восприняли по-разному. В возникшей атмосфере соперничества, не лишенной примесей ревности, каждый упорно держался своей теорией. Со стороны пассажирки уточнение или поправки, могли бы показаться недопустимым нравоучением или, еще того хуже, непозволительным желанием завязать нитяное знакомство. Поэтому она откликнулась на мисс Гарленд, мисс Макфарленд и мисс Соломон с одинаковой скромной снисходительностью. От Парадайза до Санрайз-Сити тридцать пять миль. Клянусь котомкой Агасфера, для такого краткого путешествия достаточно называться *companion de voyage!*

Вскоре маленькая компания путников расслася веселым полукругом перед полыхающим огнем. Пледы, подушки и отдельные части кареты втащили в дом и утробили в дело. Пассажирка выбрала себе место вблизи камин на одном конце полукруга. Там она украсила собою своего рода трон, воздвигнутый ее подданными. Она восседала на принесенных из кареты подушках, прислонившись к пустому

¹ Попутчик (фр.).

ядику и боком кусту, усталым плечами и защищавшим ее от порывов сквозного ветра. Она протянула прелестно обутые ножки к ласковому огню. Она сняла перчатки, но оставила на шее длинное меховое боа. Колыхающееся пламя слабо освещало ее лицо, полускрытое защитным боа,— юное лицо, очень женственное, ясное, очерченное и спокойное, в неколебимой уверенности своей красоты. Рыцарство и мужественность соперничали здесь, угождая ей и утешая ее. Она принимала их преклонение и не игриво, как женщины, за которой ухаживают; не кокетливо, как многие представительницы ее пола, недостойные этих почестей; не с тупым равнодушием, как бык, получающий охапку сена, но согласно указаниям самой природы: как лилия впитывает капельку росы, предназначенную для того, чтобы освежить ее.

Вокруг дома яростно завывал ветер, мелкий снег со свистом врывался в щели, холод проинизывал спины принесших себя в жертву мужчин, но в ту ночь стихия не была лишена защитника. Менефи взялся быть адвокатом снежной бури. Погода являлась его клиентом, и в односторонние аргументированной речи он старался убедить своих компаньонов по холодной скамье присяжных, что они восседают в беседе из роз, овеваемые лишь нежными зефирами. Он обнаружил запас веселости, остроумия и анекдотов, не совсем приличных, но встреченных с одобрением. Невозможно было противостоять его заразительной бодрости, и каждый последствие внести свою лепту в общий фонд оптимизма. Даже пассажирка решилась заговорить.

— Все это, по-моему, очаровательно,— сказала она тихим, кристально чистым голосом.

Время от времени кто-нибудь вставал и шутки ради обследовал комнату. Мало осталось следов от ее прежнего обитателя, старика Редрута.

К Билледу Розу настойчиво пристали, чтобы он рассказал историю экс-отшельника. Поскольку лошади были устроены с комфортом и пассажиры, по-видимому, тоже, к возникше вернулись спокойствие и любезность.

— Старый хрыч,— начал Биллед Роз не совсем почтительно,— торчал в этой хибарке лет двадцать. Он никого не подпускал к себе на близкую дистанцию. Как, бывало, почует карету, шмыгнет в дом — и дверь на крючок. У него, ясно, винтика в голове не хватало. Он закупал бакалею и табак в лавке Сэма Тилли на Литтл-Мадди. В августе он явился туда, завернутый в красное одеяло, и сказал Сэму, что он царь Соломон и что царица Савская едет к нему в гости. Он приволок с собой весь свой капитал — небольшой мешочек, полный серебра,— и бросил его в колодезь Сэма. «Она не придет», — говорит старик Редрут Сэму, — если узнает, что у меня есть деньги».

Как только люди услышали такие рассуждения насчет женщин и денег, им сразу стало ясно, что старик спятил. Его забрали и упрятали в сумасшедший дом.

Может, в его жизни был какой-нибудь неудачный роман, который заставил его искать отшельничества? — спросил один из пассажиров, молодой человек, имевший агентство.

— Нет,— сказал Биллед,— на этот счет ничего не слыхал. Просто обыкновенные неприятности. Говорят, что в молодости ему не повезло в любовном предприятии с одной девицей; это задолго до того, как он закутался в красное одеяло и произвел свои финансовые расчеты. А о романе ничего не слышал.

— Ах! — воскликнул судья Менефи с важностью,— это, несомненно, случай любви без взаимности.

— Нет, сэр,— заявил Биллед,— ничего подобного. Она за него не пошла. Мармадюк Маллитен встретил как-то в ПарадаIZE человека из родного городка старика Редрута. Он говорил, что Редрут был паренч что надо, но вот когда хлопал его по карману, звякали только запонки да связка ключей. Он был помолвлен с этой молодой особой, мисс Алиса ее звали, а фамилию забыл. Этот человек рассказывал, что она была такого сорта девочка, для которой приятно купить трамвайный билет. Но вот в городишко прикатил молодчик, богатый и с доходами. У него свои экипажи, пай в рудниках и сколько хочешь свободного времени. И мисс Алиса, хоть на нее уже была заявка, видно, столкнувалась с этим приезжим. Начались у них совпадения и случайные встречи по дороге на почту, и такие шутки, которые иногда заставляли девушку вернуть обрубальное кольцо и прочие подарки. Одним словом, появилась «трешинка в лютне», как выражаются в стихах.

Как-то люди видели: стоит у калитки Редрут с мисс Алисой и разговаривает. Потом он снимает шляпу — и ходу. И с тех пор никто его в городе больше не видел. Во всяком случае так передавал этот человек.

— А что стало с девушкой? — спросил молодой человек, имевший агентство.

— Не слыхал,— ответил Биллед.— Вот здесь то место на дороге, где экипаж сломал колесо и багаж моих сведений упал в канаву. Все выкачал, до дна.

— Очень печаль... — начал судья Менефи, и его реплика была оборвана более высоким авторитетом.

— Какая очаровательная история,— сказала пассажирка голосом нежным, как флейта.

Воцарилась тишина, нарушаемая только завыванием ветра и потрескиванием горящих дров.

Мужчины сидели на полу, слегка смягчив его негостеприимную поверхность пледом и стружками. Человек, который размещал ветряные мельницы «Маленький Голлаф», поднялся и начал ходить, чтобы поразмять онемевшие ноги.

Вдруг послышался его торжествующий возглас. Он поспешил назад из темного угла

комнаты, неся что-то в высоко поднятой руке. Это и было яблоко, большое, румяное, свежее; приятно было смотреть на него. Он нашел его в бумажном пакете на полке; в темном углу. Оно не могло принадлежать сраженному любовью Редруту, его великолепный вид доказывал, что не с августа лежало оно на затхлой полке. Очевидно, какие-то путешественники завтракали недавно в этом необитаемом доме и забыли его.

Денвуди — его подвиги опять требуют почтить его наименованием — победоносно подбрасывал яблоко перед носом своих попутчиков.

— Поглядите-ка, что я нашел, миссис Макфарленд! — закричал он хвастливо. Он высоко поднял яблоко, и, освещенное огнем, оно стало еще румянее. Пассажирка улыбнулась спокойно... неизменно спокойно.

— Какое очаровательное яблоко, — тихо, но отчетливо сказала она.

Некоторое время судья Менефи чувствовал себя раздвоенным, униженным, разжалованным. Его отбросил на второе место, и это злило его. Почему не ему, а вот этому горлану, деревенщину, назойливому мельнику, вручила судьба это произведшее сенсацию яблоко? Попади оно к нему, и он разыграл бы с ним целое действо, оно послужило бы темой для какого-нибудь экспромта, для речей, полных блестящей выдумки, для комедийной сцены — и он остался бы в центре внимания. Пассажирка уже смотрела на этого нелепого Деибодди или Вудбенди с восхитенной улыбкой, словно парень совершил подвиг! А мельник шумел и вертелся, как образчик своего товара — от ветра, который всегда дует из страны хористов в область звезды подмостков.

Пока восторженный Денвуди со своим аладинным яблоком был окружен вниманием капитриозной толпы, изобретательный судья обдумал план, как вернуть свои лавры.

С любезнейшей улыбкой на обрюзгшем, но классически правильном лице судья Менефи встал и взял из рук Денвуди яблоко, как бы собираясь его исследовать. В его руках оно превратилось в вещественное доказательство № 1.

— Превосходное яблоко, — сказал он одобрительно. — Должен признаться, дорогой мой мистер Денвуди, что вы затмили всех нас своими способностями фуражира. Но у меня возникла идея. Пусть это яблоко станет эмблемой, символом, призом, который разум и сердце красавицы вручат достойнейшему.

Все присутствующие, за исключением одного человека, зааплодировали.

— Здорово загнул! — пояснил пассажир, который не был ничем особенным, молодому человеку, имевшему агентство.

Воздержавшимся от аплодисментов был мельник. Он почувствовал себя разжалованным в рядовые. Ему бы и в голову никогда не пришло объявить яблоко эмблемой. Он собрался, после того как яблоко разделять и съедать, приклеить его семечки ко лбу и назвать их

именами знакомых дам. Одно семечко он хотел назвать миссис Макфарленд. Семечко, упавшее первым, было бы... но теперь уже поздно.

— Яблоко, — продолжал судья Менефи, атакуя присяжных, — занимает в нашу эпоху — надо сказать, совершенно незаслуженно — ничтожное место в диапазоне нашего внимания. В самом деле, оно так часто ассоциируется с кулинаруей и коммерцией, что едва ли его можно причислить к разряду благородных фруктов. Но в древние времена это было не так. Библейские, исторические и мифологические предания изобилуют доказательствами того, что яблоко было королем в государстве фруктов. Мы и сейчас говорим «зеница ока», когда хотим определить что-нибудь чрезвычайно ценное. А что такое зеница ока, как не составная часть яблока, глазного яблока? В Псалтири Соломоновых мы находим сравнение с «серебряными яблоками». Никакой плод дерева или лозы не упоминается так часто в фигуральной речи. Кто не слышал и не мечтал о «яблоках Гесперид»? Мне нет необходимости привлекать ваше внимание к величайшему по значению и трагизму примеру, подтверждающему престиж яблока в прошлом, когда потребление его нашими прародителями повлекло за собой падение человека с его пьедестала добродетели и совершенства.

— Такие яблоки, — сказал мельник, затрагивая материальную сторону вопроса, — стоят на чикагском рынке три доллара пятьдесят центов бочонок.

— Так вот, — сказал судья Менефи, удостоив мельника снисходительной улыбкой, — то, что я хочу предложить, сводится к следующему: в силу обстоятельств мы должны оставаться здесь до утра. Топлива у нас достаточно, мы не замерзнем. Наша следующая задача — развлечь себя наилучшим образом, чтобы время шло не слишком медленно. Я предлагаю вложить это яблоко в ручки мисс Гарленд. Оно больше не фрукт, но, как я уже сказал, приз, награда, символизирующая великую человеческую идею. Сама мисс Гарленд перестает быть индивидуумом... только на время, я счастлив добавить (низкий поклон, полный старомодной грации), — она будет представлять свой пол, она будет квинтэссенцией женского племени, сердцем и разумом, я бы сказал, венца творения. И в этом качестве она будет судить и решать по следующему вопросу.

Всего несколько минут назад наш друг, мистер Роз, почтил нас увлекательным, но фрагментарным очерком романтической истории из жизни бывшего владельца этого обиталища. Скучные факты, сообщенные нам, открывают, мне кажется, необъятное поле для всевозможных догадок, для анализа человеческих сердец, для упрямства нашей фантазии, словом — для импровизации. Не упустим же эту возможность. Пусть каждый из нас расскажет свою версию истории отшельника Редрута и его дамы сердца, начиная с того, на чем обрывается рассказ мистера Роза, — с того, как влюбленные

расстались у калитки. Прежде всего условимся: вовсе не обязательно предполагать, будто Редрут сошел с ума, возненавидел мир и стал отшельником исключительно по вине юной леди. Когда мы кончим, мисс Гарленд вынесет *приговор женщины*. Являясь духовным символом своего пола, она должна будет решить, какая версия наиболее правдиво отражает коллизию сердца и разума и наиболее верно оценивает характер и поступки невесты Редрута с точки зрения женщины. Яблоко будет вручено тому, кто удостоится этой награды. Если все вы согласны, то мы будем иметь удовольствие услышать первой историю мистера Девунди.

Последняя фраза пленила мельника. Он был не из тех, кто способен долго унывать.

— Проект первый сорт, судья, — сказал он искренне. — Сочинить, значит, рассказик по-мелней? Что же, я как-то работал репортером в одной спрингфилдской газете и когда новостей не было, я их выдумывал. Надеюсь, что не ударю лицом в грязь.

— По-моему, идея, очаровательная, — сказала пассажирка, просясь. — Это будет совсем как игра.

Судья Менефи выступил вперед и торжественно вложил яблоко в ее ручку.

— В древности, — сказал он с подъемом, — Парис присудил золотое яблоко красивейшей.

— Я был в Париже на выставке, — заметил снова развеселившийся мельник, — но ничего об этом не слышал. А я все время болтался на площади аттракционов, если не торчал в машинном павильоне.

— А теперь, — продолжал судья, — этот плод должен истолковать нам тайну и мудрость женского сердца. Возьмите яблоко, мисс Гарленд. Выслушайте наши нехитрые романтические истории и присудите приз по справедливости.

Пассажирка мило улыбнулась. Яблоко лежало у нее на коленях под плащами и пледами. Она приткнулась к своему защитному укреплению, и ей было тепло и уютно. Если бы не шум голосов и ветра, наверное можно было бы услышать ее мурлыканье.

Кто-то подбросил в огонь дров. Судья Менефи уткнув кивнул головой мельнику.

— Вы почите нас первым рассказом? — сказал он.

Мельник уселся по-турецки, сдвинул шляпу на самый затылок, чтобы предохранить его от сквозняка.

— Ну, — начал он без всякого смущения, — я разрешаю это затруднение примерно таким манером. Конечно, Редрута здорово поддел этот гусь, у которого хватило денег на всякие игрушки и который пытался отбить у него девушку. Ну, ясно, он идет прямо к ней и спрашивает, фальшивит она или нет. Кому охота, чтобы какой-то хлюст подлезал с экипажами и золотыми присками к девушке, на которую вы нацелились? Ну, значит, он идет к ней. Ну, возможно, что он горячится и разговаривает с

ней, как с собственной женой, забыв, что чек еще не наличные. Ну, надо думать, что Алисе становится жарко под кофточкой. Ну, она кроет ему в ответ. Ну, ой...

— Слушайте, — перебил его пассажир, который не был ничем озабоченным. — Если бы вы столько размешали ветряных мельниц, сколько раз повторите «ну», вы бы нажили себе капиталец, верио?

Мельник добродушно усмехнулся.

— Ну, я вам не Гюй де Молассан, — сказал он весело. — Я выражаюсь просто, по-американски. Ну, она говорит что-нибудь вроде этого: «Мистер Принкс мне только друг, — говорит она, — но он катает меня и покупает билеты в театр, а от тебя этого не дождешься. Что же, мне и удовольствия в жизни иметь нельзя? Так ты думаешь?» — «Брось эти штучки, — говорит Редрут. — Дай этому шеголу отставку; а то не ставить тебе комнатных туфель под мою тумбочку».

Ну, такое расписание не годится девушке, которая развела-пары: если девушка была с характером, такие слова, конечно, пришлись ей не по вкусу. А бысь об заклад, что она только его и любила. Может, ей просто хотелось, как это бывает с девушками, повертливость немощно, прежде чем засест штопать Джорджу носки и стать хорошей женой. Но ему попала вожжа под хвост, и он ни тпру ни ну. А она ясно, понятно, возвращает ему кольцо. Джордж, значит, смывается и начинает закладывать. Да-с! Вот она штука-то какая! А держу пари, что девочка выставила этот рог изобилия в модной жилетке ровно через два дня, как иссяк ее суженый. Джордж погружается на товарный поезд и направляет междок со своими пожитками в края неизвестные. Нескольким лет он пьет горькую. А потом айлин и водка подсказывают решение. «Мне остается келья отшельника, — говорит Джордж, — да борода по пояс, да закрытая кубышка с деньгами, которых нет».

Но Алиса, по моему мнению, вела себя вполне порядочно. Она не вышла замуж и, как только начали показываться морщинки, взялась за пишущую машинку и завела себе кошку, которая бежала со всех ног, когда ее звали: «Кис, кис, кис!» Я слишком верю в хороших женщин и не могу допустить, что они бросают парней, с которыми хороводятся, всякий раз как им подвернется мешок с деньгами. — Мельник умолял.

— По-моему, — сказала пассажирка, слегка потянувшись на своем низком троне, — это очаро...

— О мисс Гарленд! — вмешался судья Менефи, подняв руку. — Прошу вас, не надо комментариев! Это было бы несправедливо по отношению к другим соревнующимся. Мистер... э-э... ваша очередь, — обратился судья Менефи к молодому человеку, имевшему агентство.

— Моя версия этой романтической истории такова, — начал молодой человек, робко потирая руки, — они не ссорились, расставаясь...

Мистер Редрут простился с нею и пошел по свету искать счастья. Он знал, что его любимая останется верна ему. Он не допускал мысли, что его соперник может тронуть сердце, такое любящее и верное. Я бы сказал, что мистер Редрут направился в Скалистые горы, в Вайоминг, в поисках золота. Однажды шайка пиратов высадилась там и захватила его за работу и...

— Эй! Что за черт? — резко крикнул пассажир, который не был ничем особенным. — Шайка пиратов высадилась в Скалистых горах? Может, вы скажете, как они плыли...

— Высадилась с поезда, — сказал рассказчик спокойно и не без находчивости. — Они долго держали его пленником в пещере, а потом отвезли за сотни миль в леса Аляски. Там красивая индианка влюбилась в него, но он остался верен Алисе. Пробуждая еще год в лесах, он отправился с бриллиантами...

— Какими бриллиантами? — спросил незначительный пассажир почти что грубо.

— С теми, которые шорник показал ему в Перуанском храме, — ответил рассказчик несколько туманно. — Когда он вернулся домой, мать Алисы, вся в слезах, повела его к зеленому могильному холмику под нвой. «Ее сердце разбилось, когда вы уехали», — сказала мать. «А что стало с моим соперником Честером Мпкинтошем?» — спросил мистер Редрут, печально склонив колени у могилы Алисы. «Когда он узнал, — ответила она, — что ее сердце принадеждало вам, он чихнул и чихнул, пока, наконец, не открыл мебельный магазин в Гранд-Рапидс. Позже мы слышали, что его до смерти искушал бешеный лось около Саус-Бенд, штат Индиана, куда он отправился, чтобы забыть цивилизованный мир». Выслушав это, мистер Редрут отвернулся от людей, и, как мы уже знаем, стал отшельником.

— Мой рассказ, — заключил молодой человек, имевший агентство, — может быть, лишен литературных достоинств, но я хочу в нем показать, что девушка осталась верной. В сравнении с истинной любовью она ни во что не ставило богатство. Я так восхищаюсь прекрасным полом и верю ему, что иначе думать не могу.

Рассказчик умолил, искоса взглянув в угол, где сидела пассажирка.

Затем судья Менефн попросил Билдеда Роза выступить со своим рассказом в соревновании на символическое яблоко. Сообщение кучера было кратким:

— Я не из тех живодеров, — сказал он, — которые все несчастья сваливают на баб. Мое показание, судья, насчет рассказа, который вы спрашиваете, будет примерно такое: Редрута сгубила лень. Если бы он сгреб за холку этого Пегаса, который пытался его объехать, и дал бы ему по морде, да держал бы Алису в стойле и надел бы ей узду с наглазниками, все было бы в порядке. Раз тебе приглянулась бабенка, так ради нее стоит постараться. «Пошли за мной, когда опять понадоблюсь», — говорит Редрут, надевает свой стетоскоп и сматывается.

Он, может быть, думал, что это гордость, а по нашему — лень. Какая женщина станет бегать за мужчиной? «Пускай сам придет», — говорит себе девочка; и я ручаюсь, что она велит парню с мощиою попятиться, а потом с утра до ночи выглядывает из окошка, не идет ли ее разлюбезный с пустым бумажником и пушистыми усами.

Редрут ждет, наверно, лет девять, не пришлет ли она негра с записочкой с просьбой простить ее. Но она не шлет. «Штука не выгорела», — говорит Редрут, — а я прогорел». И он берет за работенку отшельника и отращивает бороду. Да, лень и борода — вот в чем зарыта собака. Лень и борода друг без друга никуда. Слышали вы когда-нибудь, чтобы человек с длинными волосами и бородой наткнулся на золотые россыпи? Нет. Возьмите хоть герцога Мальборо или этого жулика из «Стандард-Ойл». Есть у них что-нибудь подобное?

Ну, а эта Алиса так и не вышла замуж, кланусь дохлым мерным. Женись Редрут на другой — может, и она вышла бы. Но он так и не вернулся. У ней хранятся как сокровища все эти штучки, которые они называют любовными памятками. Может быть, клочок волос и стальная пластинка от корсета, которую он сломал. Такого сорта товаров для некоторых женщин все равно что муж. Верю, она так и засиделась в девках. И ни одну женщину я не вижу в том, что Редрут расстался с парикмахерскими и чистыми рубашками.

Следующим по порядку выступал пассажир, который не был ничем особенным. Безымянный для нас, он совершает путь от Парадайза до Санта-Фе-Сити.

Но вы его увидите, если только огонь в камине не погаснет, когда он откликнется на призыв судьбы.

Худой, в рыжевatom костюме, сидит, как лягушка, обхватил руками ноги, а подбородок уперся в колени. Гладкие, пенькового цвета волосы, длинный нос, рот, как у сатрапа, с вздернутыми, запачканными табаком углами губ. Глаза, как у рыбы; красный галстук с булавкой в форме подковы. Он начал дребезжащим хихиканьем, которое постепенно оформилось в слова.

— Все завалилось. Что? Роман без флердоранжа? Го, го! Ставлю кошелек на пария с галстуком бабочкой и с чековой книжкой в кармане.

С расставанья у калитки? Ладио! «Ты иногда меня не любила, — говорит Редрут яростно, — иначе ты бы не стала разговаривать с человеком, который угощает тебя мороженым». — «Я ненавижу его, — говорит она, — я проклинаю его таратайку. Меня тошнит от его первосортных конфет, которые он присылает мне в золоченых коробках, обернутых в настоящие кружева; я чувствую, что могу пронзить его копьем, если он поднесет мне массивный медальон, украшенный бирюзой и жемчугом. Пропадн он пропадом! Одного тебя люблю я». — «Полегче на поворотах!» — говорит Редрут. — Что я, какой-нибудь рас-

путник из Восточных штатов? Не лезь ко мне, пожалуйста. Делить тебя я ни с кем не собираюсь. Ступай и продолжай ненавидеть твоего приятеля. Я обойдусь девочкой Никерсон с авеню Б., жевательной резинкой и поездкой в трамвае».

В тот же вечер заявляется Джон Уильям Крез. «Что? Слезы?» — говорит он, поправляя свою жемчужную булавку. «Вы отпугнули моего возлюбленного,» — говорит Алиса, давая. — Мне противен ваш вид. — «Тогда выходите за меня замуж,» — говорит Джон Уильям, зажигая сигару «Генри Клей». «Что! — кричит она, негодуя, — выйти за вас? Ни за что на свете,» — говорит она, — пока я не успокоюсь и не смогу кое-что закупить, а вы не выправите разрешения на брак. Тут рядом есть телефон: можно позвонить в канцелярию мэра».

Рассказчик сделал паузу, и опять раздался его циничный смехок.

— Поженились они? — продолжал он. — Проглотила утка жука? А теперь поговорим о старике Редруте. Вот здесь, я считаю, вы тоже все ошиблись. Что превратило его в отшельника? Один говорит: лень, другой говорит: угрызения совести, третий говорит: пьянство. А я говорю: женщины. Сколько сейчас лет старику? — спросил рассказчик, обращаясь к Билдеду Розу.

— Лет шестьдесят пять.

— Очень хорошо. Он хозяйничал здесь в своей отшельнической лавочке двадцать лет. Допустим, что ему было двадцать пять, когда он раскланялся у калитки. Таким образом, от него требуется отчет за двадцать лет его жизни, иначе ему крышка. На что же он потратил эту десятку и две пятачки? Я сообщу вам свою мысль. Сидел в тюрьме за двоеженство. Допустим, что у него была толстая блондинка в Сен-Джо и худощавая брюнетка в Скиллет-Ридж и еще одна, с золотым зубом, в долине Ко. Редрут запутался и угодил в тюрьму. Отсидел свое, вышел и говорит: «Будь что будет, но юбок с меня хватит. В отшельнической отрасли нет перепроизводства, и стенографистки не обращаются к отшельникам за работой. Веселая жизнь отшельника — вот это мне по душе. Хватит с меня длинных волос в шебенке и шпильки в сигарном ящике». Вы говорите, что старика Редрута упрятали в желтый дом потому, что он назвал себя царем Соломоном? Дудки. Он и был Соломоном. Я кончил. Полагаю, яблок это не стоит. Марки на ответ приложены. Что-то не похоже, что я победил.

Уважая предписание судьи Менефи — воздерживаться от комментариев к рассказам, никто ничего не сказал, когда пассажир, который не был ничем особенным, умолк. И тогда изобретательный зачинщик конкурса прочистил горло, чтобы начать последний рассказ на приз. Хотя судья Менефи восседал на полу без особого комфорта, это отнюдь не умаляло его достоинства. Отблески угасавшего пламени освещали его лицо, такое же чекан-

ное, как лицо римского императора на какой-нибудь старой монете, и густые пряди его почтенных седых волос.

— Женское сердце! — начал он ровным, но взволнованным голосом, — кто разгадает его? Пути и желания мужчин разнообразны. Но сердца всех женщин, думается мне, бьются в одном ритме и настроены на старую мелодию любви. Любовь для женщины означает жертву. Если она достойна этого имени, то ни деньги, ни положение не перевесят для нее истинного чувства.

Господа присяж... я хочу сказать: друзья мои! Здесь разбирается дело Редрута против любви и привязанности. Но кто же подсудимый? Не Редрут, ибо он уже понес наказание. И не эти бессмертные страсти, которые украшают нашу жизнь радостью ангелов. Так кто же? Сегодня каждый из нас сидит на скамье подсудимых и должен ответить, благородные или темные силы обитают в его душе. И судит нас изящная половина человечества в образе одного из ее прекраснейших цветков. В руке она держит приз, сам по себе незначительный, но достойный наших благородных усилий как символ признания одной из достойных представительниц женского суждения и вкуса.

Переходя к воображаемой истории Редрута и прелестного создания, которому он отдал свое сердце, я должен прежде всего возвысить свой голос против недостойной инсинуации, что яковы эгоизм, или вероломство, или любовь к роскоши какой бы то ни было женщины привели его к отречению от мира. Я не встречал женщины столь бездушной или столь продажной. Мы должны искать причину в другом — в более низменной природе и недостойных намерениях мужчины.

По всей вероятности, в тот достопамятный день, когда влюбленные стояли у калитки, между ними произошла ссора. Терзаемый ревностью, юный Редрут покинул родные края. Но имел ли он достаточно оснований поступить таким образом? Нет доказательств ни за, ни против. Но есть нечто высшее, чем доказательство; есть великая, вечная вера в доброту женщины, в ее стойкость перед соблазном, в ее верность даже при наличии предлагаемых сокровищ.

Я рисую себе безрассудного юношу, который, терзаясь, блуждает по свету. Я вижу его постепенное падение, наконец, его совершенное отчаяние, когда он осознает, что потерял самый драгоценный дар из тех, что жизнь могла ему предложить. При таких обстоятельствах становится понятным и почему он бежал от мира печали, и последующее расстройство его умственной деятельности.

Перейдем ко второй части разбираемого дела. Что мы здесь видим? Одинокую женщину, увядающую с течением времени, все еще ждущую с тайной надеждой, что вот он появится, вот раздадутся его шаги. Но они никогда не раздадутся. Теперь она уже старушка. Ее волосы поседели и гладко причесаны. Каж-

дый день она сидит у калитки и тоскливо смотрит на пыльную дорогу. Ей снится, что она ждет его не здесь, в бренном мире, а там, у райских врат, и она — его навеки. Да, моя вера в женщину рисует эту картину в моем сознании. Разлученные навеки на земле, но ожидающие: она — предвкушая встречу в Элизинге, он — в геенне огненной.

— А я думал, что он в желтом доме, — сказал пассажир, который не был ничем особенным.

Судья Менефи раздраженно поежился. Мужчины сидели, опустив головы, в причудливых позах. Ветер умерил свою ярость и налетал теперь редкими, злобными порывами. Дрова в камине превратились в груды красных углей, которые отбрасывали в комнату тусклый свет. Пассажирка в своем уютном уголке казалась бесформенным свертком, увенчанным короной блестящих кудрявых волос. Кусок ее белоснежного лба виднелся над мягким мехом боа.

Судья Менефи с усилием поднялся.

— Итак, мисс Гарленд, — объявил он, — мы кончили. Вам надлежит присудить призывному из нас; чей взгляд, — особенно, я подчеркиваю, — что касается оценки непорочной женственности, — ближе всего подходит к вашим собственным убеждениям.

Пассажирка не отвечала. Судья Менефи озабоченно склонился над нею. Пассажир, который был ничем особенным, хрипло и противно засмеялся. Пассажирка сладко спала. Судья Менефи попробовал взять ее за руку, чтобы разбудить ее. При этом он коснулся чего-то маленького, холодного, влажного, лежавшего у нее на коленях.

— Она съела яблоко! — возвестил судья Менефи с благоговейным ужасом и, подняв огрызок, показал его всем.

ПИАНИНО

Я заночевал на овечьей ферме Раша Кинни у Песчаной излучины реки Нуэсес. Мистер Кинни и я в глаза не выдали друг друга до той минуты, когда я крикнул «алло» у его конюшни; но с этого момента и до моего отъезда на следующее утро мы, согласно кодексу Техаса, были закладными друзьями.

После ужина мы с хозяином фермы вытащили наш стулья из двухкомнатного дома на галерею с земляным полом, крытую чапаралем и саквистой. Задние ножки стульев глубоко ушли в утрамбованную глину, и мы, прислонившись к вязовым подпоркам галереи, покуривали эльторовский табачок и дружелюбно обсуждали дела остальной вселенной.

Передать словами чарующую прелесть вечера в прерии — безнадежная затея. Дерзок будет тот повествователь, который попытается описать техасскую ночь ранней весной. Ограничимся простым перечнем.

Ферма расположилась на вершине отлогого косогора. Безбрежная прерия, оживляемая оврагами и темными пятнами кустарника и кактусов, окружала нас, словно стенки чаши, на дне которой мы покоились, как осадок. Небо прихлопнуло нас бирюзовой крышкой. Чудный воздух, насыщенный озоном и сладкий от аромата диких цветов, оставлял приятный вкус во рту. В небе светил большой, круглый ласковый луч прожектора, и мы знали, что это не луна, а тусклый фонарь лета, которое явилось, чтобы прогнать на север присмиревшую весну. В ближайшем корrale смирно лежало стадо овец — лишь изредка они с шумом подымались в беспричинной панике и сбивались в кучу. Слышались и другие звуки: визгливая семейка койотов заливалась за загонами для стрижки овец, и козодон кричал в высокой траве. Но даже эти диссонансы не заглушали звонкого потока нот дроздов-пересмешников, стекавшего с десятка соседних кустов и деревьев. Хотелось подняться на цыпочки и потрогать рукою звезды, такие они висели ярко и ощутимые.

Жену мистера Кинни, молодую и расторопную женщину, мы оставили в доме. Ее задержали домашние обязанности, которые, как я заметил, она исполняла с веселой и спокойной гордостью.

В одной комнате мы ужинали. Вскоре из другой к нам на галерею ворвалась волна неожиданной и блестящей музыки. Насколько я могу судить об искусстве игры на пианино, толкователь этой шумной фантазии с честью владел всеми тайнами клавиатуры. Пианино и тем более такая замечательная игра не вязались в моем представлении с этой маленькой и невзрачной фермой. Должно быть, недоумение было написано у меня на лице, потому что Раш Кинни тихо рассмеялся, как смеются южане, и кивнул мне сквозь освещенный луной дым от наших сигарет.

— Не часто приходится слышать такой приятный шум на овечьей ферме, — заметил он. — Но я не вижу причин, почему бы не заниматься искусством и подобными фиоритурами, если вдруг очутился в музыки. Здесь скучная жизнь для женщины, и если немного музыки может ее приукрасить, почему не иметь ее? Я так смотрю на дело.

— Мудрая и благородная теория, — согласился я. — А миссис Кинни хорошо играет. Я не обучен музыкальной науке, но все же могу сказать, что она прекрасный исполнитель. У нее есть техника и незаурядная сила.

Луна, понимаете ли, светила очень ярко, и я увидел на лице Кинни какое-то довольное и сосредоточенное выражение, словно его что-то волновало, чем он хотел поделиться.

— Вы проезжали перекресток «Два Вяза», — сказал он многообещающе. — Там вы, должно быть, заметили по левую руку заброшенный дом под деревом.

— Заметил, — сказал я. — Вокруг копались стадо кабанов. По сломанным изгородям было видно, что там никто не живет.

— Вот там-то и началась эта музыкальная

история, — сказал Кинни. — Что ж, пока мы курим, я не прочь рассказать вам ее. Как раз там жил старый Кэл Адамс. У него было около восьмисот мериносов улучшенной породы и дочка — чистый шелк и красная, как новая уездка на тридцатидолларовой лошади. И само собой разумеется, я был виновен, хотя и заслуживал снисхождения, в том, что торчал у ранчо старого Кэла все время, какое удавалось урвать от стрижки овец и ухода за ягнятами. Звали ее мисс Марилла. И я высчитал по двойному правилу арифметики, что ей суждено стать хозяйкой и владелицей ранчо Ломито, принадлежащего Р. Кинни, эсквайру, где вы сейчас находитесь как желанный и почетный гость.

Надо вам сказать, что старый Кэл ничем не выделялся как овецод. Это был маленький, сутуловатый *homeb*¹, ростом с ружейный футляр, с жидкой седой бородашкой и страшно болтливый.

Старый Кэл был до того незначителен в сравнении им профессия, что даже скотопромышленники не питали к нему ненависти. А уж если овецод не способен выдвинуться настолько, чтобы заслужить враждебность скоотоводов, он имеет все шансы умереть неоплаканным и почти что неотпетым.

Но его Марилла была сущей отрадой для глаз, и хозяйка она была хоть куда. Я был их ближайшим соседом и наезжал, бывало, в «Два Вяза» от девяти до шестнадцати раз в неделю то со свежим маслом, то с оленьим окороком, то с новым раствором для мытья овец, лишь бы был хоть пустяковый предлог повидать Мариллу. Мы с ней крепко увлеклись друг другом, и я был совершенно уверен, что заарканю ее и приведу в Ломито. Только она была так пропитана дочерними чувствами к старому Кэлу, что мне никак не удавалось заставить ее поговорить о серьезных вещах.

Вы в жизни не встречали человека, у которого было бы столько познаний и так мало мозгов, как у старого Кэла. Он был осведомлен во всех отраслях знаний, составляющих учение, и владел основами всех доктрин и теорий. Его нельзя было удивить никакими идеями насчет частей речи или направлений мысли. Можно было подумать, что он профессор погоды, и полтики, и химии, и естественной истории, и происхождения видов. О чем бы вы с ним ни заговорили, старый Кэл мог дать вам детальное описание любого предмета, от греческого его корня и до момента его упаковки и продажи на рынке.

Однажды, как раз после осенней стрижки, я заезжаю в «Два Вяза» с журналом дамских мод для Мариллы и научной газетой для старого Кэла.

Привязываю я коня к мескитовому кусту, вдруг вылетает Марилла, до смерти обрадованная какими-то новостями, которые ей не терпится рассказать.

— Ах, Раш! — говорит она, так и пылая от

уважения и благодарности. — Подумай только! Папа собирается купить мне пианино. Ну не чудесно ли! Я и не мечтала никогда, что буду иметь пианино.

— Определенно замечательно, — говорю я. — Меня всегда восхищала приятный рев пианино. А тебе оно будет вместо компаньона. Молодчина, дядюшка Кэл, здорово придумал.

— Я не знаю, что выбрать, — говорит Марилла, — пианино или орган. Компатный орган тоже неплохо.

— И то и другое, — говорю я, — первоклассная штука для смягчения тишины на овечьем ранчо. Что до меня, — говорю я, — так я не желал бы ничего лучшего, как приехать вечером домой и послушать немного вальсов и джиг и чтобы на табуретке у пианино сидел кто-нибудь твоей комплекции и обрабатывал ноты.

— Ах, помолчи об этом, — говорит Марилла, — и иди в дом. Папа не выезжал сегодня. Ему нездоровится.

Старый Кэл был в своей комнате, лежал на койке. Он сильно простудился и кашлял. Я остался ужинать.

— Я слышал, что вы собираетесь купить Марилле пианино, — говорю я ему.

— Да, Раш, что-нибудь в этом роде, — говорит он. — Она давно изнывает по музыке, а сейчас я как раз могу устроить для нее что-нибудь по этой части. Нынче осенью овцы дали по шесть фунтов шерсти с головы на круг, и я решил добыть Марилле инструмент, если даже на него уйдет вся выручка от стрижки.

— Правильно, — говорю я. — Девочка этого заслуживает.

— Я собираюсь в Сан-Антонио с последней подвой шерсти, — говорит дядюшка Кэл, — и сам выберу для нее инструмент.

— А не лучше ли, — предлагаю я, — взять с собой Мариллу и пусть бы она выбрала по своему вкусу?

Мне следовало бы знать, что после подобного предложения дядюшка Кэл не остановишь. Такой человек, как он, знавший все обо всем, воспринял это как умаление своих познаний.

— Нет, сэр, это не пойдет, — говорит он, теребя свою седую бородашку. — Во всем мире нет лучшего знатока музыкальных инструментов, чем я. У меня был дядя, — говорит он, — который состоял компаньоном фабрики роялей, и я видел, как их собирали тысячами. Я знаю все музыкальные инструменты от органа до свистульки. На свете нет такого человека, сэр, который мог бы сообщить мне что-нибудь новое по части любого инструмента, дуют ли в него, колются ли, царапают, вертят, шиплют или заводят ключом.

— купи, что хочешь, па, — говорит Марилла, а сама так и колот от радости. — Уж ты-то сумеешь выбрать. Пусть будет пианино, или орган, или еще что-нибудь.

— Я как-то видел в Сент-Луисе так называемый оркестрон, — говорит дядюшка Кэл, —

¹ Человек (исп.).

самое, по-моему, замечательное изобретение в области музыки. Но для него в доме нет места. Да и стоит он, надо думать, тысячу долларов. Я полагаю, что Марилла лучше всего подойдет что-нибудь по части пианино. Она два года брала уроки в Бэрдстейле. Нет, только себе я могу доверить покупку инструмента и никому больше. Я так полагаю, что, не возмись я за разведение овец, я был бы одним из лучших в мире композиторов или фабрикантов роялей и органов.

Таков был дядюшка Кэл. Но я терпел его, потому что он очень уж заботился о Марилле. И она заботилась о нем не меньше. Он посылал ее на два года в пансион в Бэрдстейл, хотя на покрытие расходов уходил чуть ли не последний фунт шерсти.

Помнится, во вторник дядюшка Кэл отпраздновал в Сан-Антонио с последней подводой шерсти. Пока он был в отъезде, из Бэрдстейла приехал дядя Мариллы, Бен, и поселился на ранчо. До Сан-Антонио было девяносто миль, а до ближайшей железнодорожной станции сорок, так что дядюшка Кэл отсутствовал дня четыре. Я был в «Двух Вязах», когда он приказал домой как-то вечером, перед закатом. На возу определено что-то торчалось, — пианино или орган, мы не могли разобрать, — все было укутано в мешки из-под шерсти, и поверх натянут брезент на случай дождя. Марилла выскакивает и кричит: «Ах, ах!» Глаза у нее блестят и волосы развеваются. «Папочка... Папочка, — поет она, — ты привез его... Привез?» А оно у нее прямо перед глазами. Но женщины иначе не могут.

— Лучшее пианино во всем Сан-Антонио, — говорит дядюшка Кэл, гордо помахивая рукой. — Настоящее розовое дерево, и самый лучший, самый громкий тон, какой только может быть. Я слышал, как на нем играл хозяин магазина; забрал его, не торгуясь, и расплатился наличными.

Мы с Беном, дядя Кэл да еще один мексиканец снесли его с подводы, втащили в дом и поставили в угол. Это был такой стоячий инструмент — не очень тяжелый и не очень большой.

А потом ни с того ни с сего дядюшка Кэл шлепается на пол и говорит, что захворал. У него сильный жар, и он жалется на легкие. Он укладывается в постель, мы с Беном тем временем распрягаем и отводим на пастбище лошадей, а Марилла суетится, готова горячее питье дядюшке Кэлу. Но прежде всего она кладет обе руки на пианино и обнимает его с нежной улыбкой, ну, знаете, совсем как ребенок с рождественскими игрушками.

Когда я вернулся с пастбища, Марилла была в комнате, где стояло пианино. По веревкам и мешкам на полу было видно, что она его распаковала. Но теперь она снова натягивала на него брезент, и на ее побледневшем лице было какое-то торжественное выражение.

— Что это ты, Марилла, никак, снова завертываешь музыку? — спрашиваю я. — А ну-ка

парочку мелодий, чтобы поглядеть, как оно ходит под седлом.

— Не сегодня, Раш, — говорит она, — я не могу сегодня играть. Пала очень болен. Только подумай, Раш, он заплатил за него триста долларов — почти треть того, что выручил за шерсть.

— Что ж такого, ты стоишь больше любой трети чего бы то ни было, — сказал я. — А потом, я думаю, дядюшка Кэл уж не настолько болен, что не может послушать легкое сотрясение клавишей. Надо же окрестить машину.

— Не сегодня, Раш, — говорит Марилла таким тоном, что сразу видно — спорить с ней бесполезно.

Но что ни говори, а дядюшку Кэла, видно, крепко скрутило. Ему стало так плохо, что Бен оседлал лошадь и поехал в Бэрдстейл за доктором Симпсоном. Я остался на ферме на случай, если что понадобится.

Когда дядюшке Кэлу немного полегчало, он позвал Мариллу и говорит ей:

— Ты видела инструмент, милая? Ну, как тебе нравится?

— Он чудесный, папочка, — говорит она, склоняясь к его подушке. — Я никогда не видела такого замечательного инструмента. Ты такой милый и заботливый, что купил мне его!

— Я не слышал, чтобы ты на нем играла, — говорит дядюшка Кэл. — А я прислушивался. Бок сейчас меня не очень тревожит. Можешь сыграть какую-нибудь вещьку, Марилла?

Но нет, она заговаривает зубы дядюшке Кэлу и успокаивает его, как ребенка. По-видимому, она твердо решила не прикасаться пока к пианино.

Приезжает доктор Симпсон и говорит, что у дядюшки Кэла воспаление легких в самой тяжелой форме; старiku было за шестьдесят, и он давно уж начал славать, так что шансы были за то, что ему не придется больше гулять по травке.

На четвертый день болезни он снова зовет Мариллу и заводит речь о пианино. Тут же находят и доктор Симпсон, и Бен, и миссис Бен, и все ухаживают за ним, кто как может.

— У меня бы здорово пошло по части музыки, — говорит дядюшка Кэл. — Я выбрал лучший инструмент, какой можно достать за деньги в Сан-Антонио. Ведь верю, Марилла, что пианино хорошее во всех отношениях?

— Оно просто совершенство, папочка, — говорит она. — Я в жизни не слышала такого прекрасного тона. А не лучше ли тебе соснуть, папочка?

— Нет, нет, — говорит дядюшка Кэл. — Я хочу послушать пианино. Мне кажется, что ты даже не прикасалась к клавишам. Я сам поехал в Сан-Антонио и сам выбрал его для тебя. На него ушла треть всей выручки от осенней стрижки. Но мне не жаль денег, лишь бы было

удовольствие для моей милой девочки. Поиграй мне немножко, Марилла...

Доктор Симпсон поманил Мариллу в сторону и посоветовал ей исполнить желание дядюшки Кэла, чтобы он успокоился. И дядя Бен и его жена просили ее о том же.

— Почему бы тебе не отступить одну-две песенки на глухой педалью? — спрашиваю я Мариллу. — Дядюшка Кэл столько раз тебя просил. Ему будет здорово приятно послушать, как ты пересчитываешь клавиши на пианино, которое он купил для тебя. Почему бы не сыграть, в самом деле?

Но Марилла стоит и молчит, только слезы из глаз катятся. Потом она подсовывает руки под шею дядюшки Кэла и крепко его обнимает.

— Ну как же, папочка, — услышали мы ее голос, — вчера вечером я очень много играла. Честное слово... я играла. Такой это замечательный инструмент, что ты даже представить не можешь, как он мне нравится. Вчера вечером я играла «Бонни Дэнди», полку «Наковальня», «Голубой Дунай» и еще массу всяких вещей. Хотя немножко, но ты, наверное, слышал, как я играла, ведь слышал, папочка? Мне не хотелось играть громко, пока ты болен.

— Возможно, возможно, — говорит дядюшка Кэл, — может быть, я и слышал. Может быть, слышал и забыл. Голова у меня какая-то дурная стала. Я слышал, хозяин магазина прекрасно играл на нем. Я очень рад, что тебе оно нравится, Марилла. Да, пожалуй, я сосну немножко, если ты побудешь со мною.

Ну, я задала же мне Марилла загадку. Так носилась она со своим старнком и вдруг не хочет выступать ни одной нотки на пианино, которое он ей купил. Я не мог понять, зачем она сказала отцу, что играла, когда даже брезент не стаскивала с пианино с тех самых пор, как накрывала его в первый день. Я знал, что она хоть немножко да умеет играть, потому что слышал однажды, как она откалывала какую-то довольно приятную танцевальную музыку на старом пианино на ранчо Чарко Ларго.

Ну-с, примерно в неделю воспаение легких ухидило дядюшку Кэла. Хоронили его в Бэрдстейле, и все мы отправились туда. Я привез Мариллу домой в своей тележке. Ее дядя Бен и его жена собирались побыть с ней несколько дней.

В тот вечер, когда все были на галерее, Марилла отвела меня в комнату, где стояло пианино.

— Поди сюда, Раш, — говорит она. — Я хочу тебе что-то показать.

Она развязывает веревку и сбрасывает брезент.

Если вы когда-нибудь ездили на седле без лошади, или стреляли из незаряженного ружья, или напивались из пустой бутылки, тогда, возможно, вам удалось бы извлечь оперу из инструмента, купленного дядюшкой Кэлом. Это было не пианино, а одна из тех машин, которые изо-

бавляли, чтобы при помощи их играть на пианино. Сама по себе она была так же музыкальна, как дырки флейты без флейты.

Вот какое пианино выбрал дядюшка Кэл. И возле него стояла добрая, чистая, как первосортная шерсть, девушка, которая так и не сказала ему об этом.

— А то, что вы сейчас слушали, — заключил мистер Кинни, — было исполнено этой самой подставной музыкальной машиной; только теперь она приткнута к пианино в шестьсот долларов, которое я купил Марилле, как только мы познакомились.

ПРИНЦЕССА И ПУМА

Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком; он носил шестизарядные револьверы и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи прерий спешили спрятаться в свои норы под кактусами. До коронации его звали Бен Шентун. Когда же он обзавелся пятьюдесятью тысячами акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннел, король скота.

Королева была мексиканка из Ларедо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена, и ей даже удалось научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антонио в фугонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу Данаи.

Во избежание *lese majeste*¹ вас сначала представили королю и королеве. Но они не играют, никакой роли в этом рассказе, который можно назвать «Повестью о том, как принцесса не растерялась и как лев свалил дурака».

Принцессой была здравствующая королевская дочь Жозефа О'Доннел. От матери она унаследовала доброе сердце и смуглую субтропическую красоту. От его величества Бена О'Доннела она получила запас бесстрашия, здравый смысл и способность управлять людьми. Стоило приехать издалека, чтобы посмотреть на такое сочетание. На всем скаку Жозефа могла всадить пять пуль из шести в жестянку из-под помидов, вертящуюся на конце веревки. Она могла часами играть со своим белым котенком, наряжая его в самые нелепые костюмы. Презирая карандаш, она могла высчитать в уме, сколько барыша принесут тысяча пятьсот сорок пять двухлук, если продать их по восемь долларов пятьдесят центов за голову. Ранчо Эспиноза имеет около сорока миль в длину и

¹ Оскорбление величества (фр.).

тридцати в ширину — правда, большей частью арендованной земли. Жозефа обследовала каждую ее мило верхом на своей лошади. Все ковбои на этом пространстве знали ее в лицо и были ее верными вассалами. Рипли Гивнс, старший одиой из ковбойских партий Эспинозы, увидел ее однажды и тут же решил породниться с королевской фамилией. Самонадеянность? О нет. В те времена на землях Нузсес человек был человеком. И в конце концов титул «короля скота» вовсе не предполагает королевской крони. Часто он означает только, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота.

Однажды Рипли Гивнс поехал верхом на рачко «Два Вяза» справиться о пропавших одиолетках. В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы Белой Лошади на реке Нузсес. От переправы до его лагеря было шестнадцать миль. До усадьбы ранчо Эспиноза — двенадцать. Гивнс утомился. Он решил заночевать у переправы.

Река в этом месте образовала красивую завоь. Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В пятидесяти ярдах от воды поляны покрывала курчавая мескитовая трава — ужин для коня и постель для всадника. Гивнс привязал лошадь и разложил потник для просушки. Он сел, прислонившись к дереву, и свернул папиросу. Из зарослей, окаймлявших реку, вдруг донесся яростный, раскатистый рев. Лошадь заплескала на привязи и зафыркала, почував опасность. Гивнс, продолжая попычивать папироской, не спеша поднял с земли свой пояс и в всякий случай повернул барабан револьвера. Большая шука громко плеснула в заводн. Маленький бурый кролик обскакал куст «кошачьей лапки» и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивнса. Лошадь снова принялась щипать траву.

Меры предосторожности не лишни, когда на закате солнца мексиканский лев поет сопрано у реки. Может быть, его песня говорит о том, что молодые телята и жирные барашки попадают редко и что он горит плотоядным желанием познаться с вами.

В траве валялась пустая жестянка из-под фруктовых консервов, брошенная здесь каким-нибудь путником. Увидев ее, Гивнс крикнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папирасы! Чего еще надо ковбою?

В две минуты Гивнс развел небольшой все-ский костер. Он взял жестянку и пошел к заводу. Не доходя пятнадцати шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву. А у самой воды поднималась с колен Жозефа О'Доннел. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладоней песок. В десяти ярдах справа от нее Гивнс увидел мексиканского льва, полускрытого ветвями саксисты. Его яитарные глаза сверкали голодным огнем; в шести футах от них виднелся кончик хвоста, вытянутого прямо, как у пойнтера. Зверь

чуть раскачивался на задних лапах, как все представителни кошачьей породы перед прыжком.

Гивнс сделал, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было тридцать пять ярдов. с громким воплем Гивнс кинулся между львом и прхиссой.

Схватка, как впоследствии рассказывал Гивнс, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, Гивнс увидел в воздухе дымную полосу и услышал два слабых выстрела. Затем сто фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову и тяжелым ударом придавили его к земле. Он помнит, как закричал: «Отпусти, это не по правилам!» — и потом выполз из-под льва, как червяк, с набитым травой и грязью ртом и большой шишкой на затылке в том месте, которым он стукнулся о корень вяза. Лев лежал неподвижно. Раздосадованный Гивнс, подозревая подвоха, погрозил льву кулаком и крикнул: «Подожди, я с тобой еще!» — и тут пришел в себя.

Жозефа стояла на прежнем месте, спокойно перезаряжая тридцативосьмилберный револьвер, оправленный серебром. Особенной меткости ей на этот раз не потребовалось: голова зверя представляла собой более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов, вертящаяся на конце веревки. На губах девушки и в темных глазах играла вызывающая улыбка. Незадачливый рыцарь-избавитель почувствовал, как фиско огнем жжет его сердце. Вот где ему представился случай, о котором он так мечтал, но все произошло под знаком Момуса, а не Купидона. Сатиры в лесу уж, наверно, держались за бока, знаясь озорным беззвучным смехом. Разыгрывалось нечто вроде водевиля «Сеньор Гивнс и его забавный поединок с чуелом льва».

— Это вы, мистер Гивнс? — сказала Жозефа своим медлительным тоном контрольного. — Вы чуть не испортили мне выстрела своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали?

— О нет, — спокойно ответил Гивнс. — Это было совсем не больно.

Он нагнулся, придавленный стыдом, и вытащил из-под зверя свою прекрасную шляпу. Она была так смята и истерзана, словно ее специально готовили для комического юмера. Потом он стал на колени и нежно погладил свирепую, с открытой пастью голову мертвого льва.

— Бедный старый Билл! — горестно воскликнул он.

— Что такое? — резко спросила Жозефа.

— Вы, конечно, не знали, мисс Жозефа, — сказал Гивнс с вндом человека, в сердце которого великодушне берет верх над горем. — Вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас.

— Кого спасти?

— Да Билла. Я весь день искал его. Ведь он два года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик! Он бы и кролика не обидел. Ребята просто с ума сойдут, когда услышат. Но

вы-то не знали, что он хотел просто поиграть с вами.

Черные глаза Жозефы упорно жгли его. Рипли Гивис выдержал испытание. Он стоял и задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь, но без примеси нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Жозефа дрогнула.

— Что же делал здесь ваш любимец? — спросила она, пустая в ход последний довод. — У переправы Белой Лошади нет никакого лагеря.

— Этот разбойник еще вчера удрал из лагеря, — без запинки ответил Гивис. — Удивляться приходится, как его до смерти не напугали койоты. Понимаете, на прошлой неделе Джим Уэбстер, наш конюх, привез в лагерь маленького щенка терьера. Этот щенок буквально отравил Биллу жизнь: он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, Билл забирался под одеяло к кому-нибудь из ребят и спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довело до отчаяния, а то бы он не сбежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря.

Жозефа посмотрела на труп свирепого зверя. Гивис ласково похлопал его по страшной лапе, одного удара которой хватило бы, чтобы убить годовалого теленка. По оливковому лицу девушки разлился яркий румянец. Был ли то признак стыда, какой испытывает настоящий охотник, убив недостойную дичь? Взгляд ее смягчился, а опущенные ресницы смахнули с глаз веселую насмешку.

— Мне очень жаль, — сказала она, — но он был такой большой и прыгнул так высоко, что...

— Бедняга Билл проголодался, — перебил ее Гивис, спеша заступиться за покойника. — Мы в лагере всегда заставляли его прыгать, когда кормили. Чтобы получить кусок мяса, он ложился и катался по земле. Увидев вас, он подумал, что вы ему дадите поесть.

Вдруг глаза Жозефы широко раскрылись. — Ведь я могла застрелить вас! — воскликнула она. — Вы бросились как раз между нами. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти своего любимца! Это замечательно, мистер Гивис. Мне нравятся люди, которые любят животных.

Да, сейчас в ее взгляде было даже восхищение. В конце концов из руины позорной развязки рождался герой. Выражение лица Гивиса обеспечило бы ему высокое положение в «Обществе покровительства животным».

— Я их всегда любил, — сказал он, — лошадей, собак, мексиканских львов, коров, аллигаторов...

— Ненавижу аллигаторов! — быстро возразила Жозефа. — Ползучие, грязные твари!

— Разве я сказал «аллигаторов»? — поправился Гивис. — Я, конечно, имел в виду антилоп.

Совесть Жозефы заставила ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блеснули непротитые слезинки.

— Пожалуйста, простите меня, мистер Гивис. Ведь я женщина и сначала, естественно, испугалась. Мне очень, очень жаль, что я застрелила Билла. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что не сделала бы этого, если бы знала.

Гивис взял протянутую руку. Он держал ее до тех пор, пока его великодушье не победило скорбь об утраченном Билле. Наконец стало ясно, что он простил ее.

— Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Жозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню все ребятам.

— Правда? И вы не будете меня ненавидеть? — Жозефа доверчиво придвинулась ближе к нему. Глаза ее глядели ласково, очень ласково, и в них была пленительная мольба. — Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка. И как смело и благородно с вашей стороны, что вы пытались спасти его с риском для жизни! Очень, очень немногие поступили бы так!

Победа, вырванная из поражения! Водевиль, обернувшийся драмой! Браво, Рипли Гивис!

Спустились сумерки. Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Жозефа ехала в усадьбу одна. Гивис опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с нею. Они скакали рядом по мягкой траве — принцесса и человек, который любил животных. Запахи прерии — запахи плодородной земли и прекрасных цветов — окутывали их сладкими волнами. Вдали на холме затявкали койоты. Бояться нечего! И все же...

Жозефа подтехла ближе. Маленькая ручка, по-видимому, что-то искала. Гивис накрыл ее своей. Лошади шли юга в югу. Руки медленно сомкнулись, и обладательница одной из них заговорила.

— Я никогда раньше не пугалась, — сказала Жозефа, — но вы подумайте, как страшно было бы встретиться с настоящим диким львом! Бедный Билл! Я так рада, что вы поехали со мной!..

О'Доинел сидел на галерее.

— Алло, Рип! — гаркнул он. — Это ты?

— Он провозжал меня, — сказала Жозефа. — Я сбился с дороги и запоздала.

— Премного обязан, — возгласил король скота. — Заиочуй, Рип, а в лагерь поедешь завтра.

Но Гивис не захотел остаться. Он решил ехать дальше, в лагерь. На рассвете нужно было отправить гурт быков. Он простился и поскакал.

Час спустя, когда погасли огни, Жозефа в ночной сорочке подошла к своей двери и крикнула через выложенный кирпичом коридор:

— Слушай, пап, ты помнишь этого мексиканского льва, которого прозвали «Кориноухий дьявол»? Того, что задрал Гонсалеса, овечьего пастуха мистера Мартина, и с полсотни телят на ранчо Салада? Так вот, я разделалась с ним сегодня у переправы Белой Лошади. Он прыгнул.

а я всадил ему две пули из моего тридцативосьмиллиберного. Я узнал его по левому уху, которое старик Гонсалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам не сделал бы лучшего выстрела, папа.

— Ты у меня молодчина! — прогремел Бен Шепту из мрака королевской опочивальни.

БАБЬЕ ЛЕТО ДЖОНСОНА СУХОГО ЛОГА

Джонсон Сухой Лог встряхнул бутылку. Полагалось перед употреблением взбалтывать, так как сера не растворяется. Затем Сухой Лог смочил маленькую губку и принялся втирать жидкость в кожу на голове у корней волос. Кроме серы, в состав входил еще уксусно-кислый свинец, настойка стрихнии и лавровишневая вода. Сухой Лог вычитал этот рецепт из воскресной газеты. А теперь надо объяснить, как случилось, что сильный мужчина пал жертвой косметики.

В недавнем прошлом Сухой Лог был овцеводом. При рождении он получил имя Гектор, но впоследствии его переименовали по его ранчо, в отличие от другого Джонсона, который разводил овец ниже по течению Фрио и назывался Джонсон Ильмовый Ручей.

Жизнь в обществе овец и по их обычаям под конец прискучила Джонсону Сухому Логу. Тогда он продал свое ранчо за восемнадцать тысяч долларов, перебрался в Санта-Розу и стал вести праздный образ жизни, как подобает человеку со средствами. Ему было лет тридцать пять или тридцать восемь, он был молчалив и склонен к меланхолии, и очень скоро из него выработался законченный тип самой скучной и удручающей человеческой породы — пожилой холостяк с любимым коньком. Кто-то угостил его клубникой, которой он до тех пор никогда не пробовал, — и Сухой Лог погиб.

Он купил в Санта-Розе домишко из четырех комнат и избил шкафы руководствами по выращиванию клубники. Позади дома был сад; Сухой Лог пустил его весь под клубничные грядки. Там он и проводил свои дни; одетый в старую серую шерстяную рубашку, штаны из коричневой парусины и сапоги с высокими каблуками, он с утра до ночи валялся на раскладной койке под виргинским дубом возле кухонного крыльца и штудировал историю полонившей его сердце пурпуровой ягоды.

Учительница в тамошней школе, мисс. Де Витт, находила, что Джонсон, хотя и не молод, однако еще весьма представительный мужчина. Но женщины не привлекали взоров Сухого Лога. Для него они были существа в юбках — не больше; и, завидев развешающийся подол, он неуклюже приподнимал над головой тяжелую, широкополую поярковую шляпу и проходил мимо, спеша вернуться к своей возлюбленной клубнике.

Все это воступило, подобно хорам в древнегреческих трагедиях, имеет единственной целью подвести вас к тому моменту, когда уже можно будет сказать, почему Сухой Лог встряхивал бутылку с нерастворяющейся серой. Такое уж исторопливое и непрямое дело — история; изломанная тебь от верстового столба, ложащаяся на дорогу, по которой мы стремимся к закату.

Когда клубника начала поспевать, Сухой Лог купил самый тяжелый кучерский кнут, какой нашлся в деревенской лавке. Не один час провел он под виргинским дубом, сплетая в жгут тонкие ремешки и приращивая к своему кнуту конец, пока в руках у него не оказался бич такой длины, что им можно было сбить листок с дерева на расстоянии двадцати футов. Ибо сверкающие глаза юных обитателей Санта-Розы давно уже следили за созреванием клубники, и Сухой Лог вооружался против ожидаемых набегов. Не так он лелеял новорожденных ягнят в свои овцеводческие дни, как теперь свои драгоценные ягоды, охраняя их от голодных волков, которые свистали, орали, играли в шарики и запускали хищные взгляды сквозь изгородь, окружавшую владения Сухого Лога.

В соседнем доме проживала вдова с многочисленным потомством — его-то главным образом и опасался наш садовод. В жилах вдовы текла испанская кровь, а замуж она вышла за человека по фамилии О'Брайан. Сухой Лог был знатоком по части скрещивания пород и предвидел большие неприятности от отпрысков этого союза.

Сады разделяла шаткая изгородь, увитая вьюнком и плетями дикой тыквы. И часто Сухой Лог видел, как в просветы между колыями просовывалась то одна, то другая маленькая голова с копной черных волос и горящими черными глазами, ведя счет краснеющим ягодам.

Однажды под вечер Сухой Лог отправился на почту. Вернувшись, он увидел, что сбился худшее его опасения. Потомки испанских бандитов и ирландских угодников скота всей шайкой учинили налет на клубничные плантации. Оскорбленному взору Сухого Лога представилось, что их там полным-полно, как овец в загоне; на самом деле их было пятеро или шестеро. Они сидели на короточках между грядками, перепрыгивали с места на место, как жабы, и молча н торопливо пожирали отборные ягоды.

Сухой Лог неслышно отступил в дом, захватил свой кнут и ринулся в атаку на мародеров. Они н оглянуться не успели, как ремennый бич обвился вокруг ног десятилетнего грабителя, орудовавшего ближе всех к дому. Его пронзительный визг послужил сигналом тревоги — все кинулось к изгороди, как вспугнутый в чепарале выводок кабанов. Бич Сухого Лога исторг у них на пути еще несколько демонских воплей, а затем они нырнули под оббитые зеленые жерди и исчезли.

Сухой Лог, не столь легкий на ногу, пресле-

довал их до самой изгороди, где же их поймать! Прекратив бесцельную погоню, он вышел из-за кустов — и вдруг выронил кнут и застыл на месте, утратив дар слова и движения, ибо все наличные силы его организма ушли в этот миг на то, чтобы кое-как дышать и сохранять равновесие.

За кустом стояла Панчита О'Брайан, старшая из грабителей, не удосужившая обратиться в бегство. Ей было девятнадцать лет, черные, как ночь, кудри спутанным ворохом спадали ей на спину, перехваченные алой лентой. Она ступила уже на грань, отделяющую ребенка от женщины, но медлила ее перешагнуть, детство еще обнимало ее и не хотело выпустить из своих объятий.

Секунду она с невозмутимой дерзостью смотрела на Сухого Лога, затем у него на глазах прикусила белыми зубами сочную ягоду и не спеша разжевала. Затем повернулась и медленной, плавной походкой величественно направилась к изгороди, словно вышедшая на прогулку герцогиня. Тут она опять повернулась, обожгла еще раз Сухого Лога темным пламенем своих нахальных глаз, хихикнула, как школьница, и гибким движением, словно пантера, проскользнула между колыями на ту сторону цветущей изгороди.

Сухой Лог поднял с земли свой кнут и побрел к дому. На кухонном крыльце он споткнулся, хотя ступенек было всего две. Старуха мексиканка, приходявшая убирать и стряпать, позвала его ужинать. Не отвечая, он прошел через кухню, потом через комнаты, споткнулся на ступеньках парадного крыльца, вышел на улицу и побрел к мексиканской рощице на краю деревни. Там он шел на землю и принялся аккуратно ошиповать колючки с куста опунции. Так он всегда делал в минуты раздумья, усвоив эту привычку еще в те дни, когда единственным предметом его размышлений был ветер, вода и шерсть.

С Сухим Логом стряслась беда — такая беда, что я советую вам, если вы хоть сколько-нибудь годитесь еще в женихи, помолиться богу, чтобы она вас миновала. На него накатило бабье лето.

Сухой Лог не знал молодости. Даже в детстве он был на редкость серьезным и степенным. Шести лет он с молчаливым неодобрением взирал на легкомысленные прыжки ягнят, резвившихся на лугах отцовского ранчо. Годы юности он потратил зря. Божественное пламя, сжигающее сердце, ликующая радость и бездонное отчаяние, все порывы, восторги, муки и блаженства юности прошли мимо него. Страсти Ромео никогда не волновали его грудь; он был меланхолическим Жаком — но с более суровой философией, ибо ее не смягчала горькая сладость воспоминаний, скрашивавших одинокие дни арденнского отшельника. А теперь, когда на Сухого Лога уже дышала осень, один-единственный презрительный взгляд черных очей Панчиты О'Брайан овеял его вдруг запоздалым и обманчивым летним теплом.

Но Лог поведет — упрямое животное. Сухой Лог столько перенес зимних бурь, что не согласен был теперь отвернуться от погожего летнего дня, мнимого или настоящего. Слишком стар? Ну, это еще посмотрим.

Со следующей почтой в Санта-Антонио был послан заказ на мужской костюм по последней моде со всеми принадлежностями: цвет и крой по усмотрению фирмы, цена безразлична. На другой день туда же отправился рецент восстановителя для волос, вырезанный из воскресной газеты, ибо выгоревшая на солнце рыжевато-каштановая шевелюра Сухого Лога начала уже серебриться на висках.

Целую неделю Сухой Лог просидел дома, не считая частых вылазок против юных расхитителей клубники. А затем, по прошествии еще нескольких дней, он внезапно предстал изумленным взглядам обитателей Санта-Розы во всем горячем блеске своего осеннего безумия.

Ярко-синий фланелевый костюм облекал его с головы до пят. Из-под него выглядывала рубашка цвета бычьей крови и высокие воротничок с отворотами; пестрый галстук развевался как знамя. Ядовито-желтые ботинки с острыми носами сжимали, как в тисках, его ноги. Крошечное канотье с полосатой лентой оскверняло закаленную в бурях голову. Лимонного цвета лайковые перчатки защищали жесткие как деревянные руки от крохотных лучей майского солнца. Эта поражающая взор и возмущающая разум фигура, прихрамывая и разглаживая перчатки, выползла из своего логова и остановилась посреди улицы с идиотической улыбкой на устах, пугая людей и заставляя ангелов отвращать лицо свое. Вот до чего довел Сухого Лога Амур, который, когда случается ему стрелять свою дичь вне сезона, всегда заимствует для этого стрелу из колчана Моисея. Выкуривая мифологию нанзианку, он восстал, как отливающий всеми цветами радуги попугай, из пепла серо-коричневого феникса, сложившего усталые крылья на своем насесте под деревьями Санта-Розы.

Сухой Лог постоял на улице, давая время соседям вдоволь на себя налюбоваться, затем, бережлив ступая, как того требовали его ботинки, торжественно прошествовал в калитку миссис О'Брайан.

Об ухаживании Сухого Лога за Панчитой О'Брайан в Санта-Розе судачили, не покаялая языком, до тех пор, пока одиннадцатимесячная засуха не вытеснила эту тему. Да и как было о нем не говорить; это было никем дотоле не выдающее и не поддающееся никакой классификации явление — нечто среднее между кекуюком, красноречием глухонемых, флиртом с помощью почтовых марок и живыми картинками. Оно продолжалось две недели, а затем неожиданно кончилось.

Миссис О'Брайан, само собой разумеется, благосклонно отнеслась к сватовству Сухого Лога, когда он открыл ей свои намерения. Будучи матерью ребенка женского пола, а стало быть, одним из членов учредителей Древнего

Орденa Мышеловки, она с восторгом принялась убирать Панчиту для жертвоприношения. Ей удлиннили платья, а непокорные кудри уложили в прическу — Панчита даже стало казаться, что она и в самом деле взрослая. К тому же приятно было думать, что вот за ней ухаживает настоящий мужчина, человек с положением и завидный жених, и чувствовать, что, когда они вместе идут по улице, все остальные девушки провожают их взглядом, прячась за занавесками.

Сухой Лог купил в Сан-Антонио кабrioлет с желтыми колесами и отличного рысака. Каждый день он возил Панчиту кататься, но ни разу никто не видал, чтобы Сухой Лог при этом разговаривал со своей спутницей. Столь же молчалив бывал он и во время пешеходных прогулок. Мысль о своем костюме повергала его в смущение; уверенность, что он не может сказать ничего интересного, замыкала ему уста; близость Панчиты наполняла его немым блаженством.

Он водил ее на вечеринки, на танцы и в церковь. Он старался быть молодым — от сотворения мира никто, наверно, не тратил на это столько усилий. Танцевать он не умел, но он сочинил себе улыбку и надевал ее на лицо во всех случаях, когда полагалось веселиться, — и это было для него таким проявлением резвости, как для другого — пройтись колесом. Он стал искать общества молодых людей, даже мальчиков — и действовал на них как ушат холодной воды; от его потуг на игривость им становилось не по себе, как будто им предлагали играть в чехарду в соборе. Насколько он преуспел в своих стараниях завоевать сердце Панчиты, этого ни он сам и никто другой не мог бы сказать.

Конец наступил внезапно — как разом меркнет призрачный отблеск вечерней зари, когда донхёт ноябрьский ветер, несущий дождь и холод.

В шесть часов вечера Сухой Лог должен был зайти за Панчитой и повести ее на прогулку. Вечерняя прогулка в Санта-Розе — это такое событие, что являться на нее надо в полном параде. И Сухой Лог загора начал облачаться в свой ослепительный костюм. Начав рано, он рано и кончил и не спеша направился в дом О'Брайанов. Дорожка шла к крыльцу не прямо, а делала поворот, и, пока Сухой Лог огibal куст жимолости, до его ушей доносились звуки буйного веселья. Он остановился и заглянул сквозь листву в распахнутую дверь дома.

Панчита потешала своих младших братьев и сестер. На ней был пиджак и брюки, должно быть некогда принадлежавшие покойному мистеру О'Брайану. На голове торчком сидела соломенная шляпа самого маленького из братьев, с бумажной лентой в чернильных полосках. На руках болтались желтые коленкорые перчатки, специально скроенные и сшитые для этого случая. Туфли были обернуты той же материей, так что могли, пожалуй, сойти за ботинки из желтой кожи. Высокий

воротничок и развевающийся галстук тоже не были забыты.

Панчита была прирожденной актрисой. Сухой Лог узнал свою нарочито юношескую походку с прихрамыванием на правую ногу, натертую тесным башмаком, свою принужденную улыбку, свои неуклюжие попытки играть роль галантного кавалера — все было передано с поразительной верностью. Впервые Сухой Лог увидел себя со стороны, словно ему поднесли вдруг зеркало. И совсем не нужно было подтверждение, которое не замедлило последовать. «Мама, иди посмотри, как Панчита представляет мистера Джонсона», — закричал один из малышей.

Так тихо, как только позволяли осмеянные желтые ботинки, Сухой Лог повернулся и на цыпочках пошел обратно к калитке, а затем к себе домой.

Через двадцать минут после назначенного для прогулки часа Панчита в батистовом белом платье и плоской соломенной шляпе чинно вышла из своей калитки и проследовала далее по тротуару. У соседнего дома она замедлила шаги, всем своим видом выражая удивление по поводу столь необычной неаккуратности своего кавалера.

Тогда дверь в доме Сухого Лога распахнулась, и он сам сошел с крыльца — не раскрашенный во все цвета спектра охотник за улетевшим летом, а восстановленный в правах овцевод. На нем была серая шерстяная рубашка, раскрытая у ворота, штаны из коричневой парусины, заправленные в высокие сапоги, и сдвинутое на затылок белое сомбреро. Двадцать лет ему можно было дать или пятьдесят — это уже не заботило Сухого Лога. Когда его бледно-голубые глаза встретились с темным взором Панчиты, в них появился ледяной блеск. Он подошел к калитке — и остановился. Длинной своей рукой он показал на дом О'Брайанов.

— Ступай домой, — сказал он. — Домой, к маме. Надо же быть таким дураком! Как еще меня земля терпит! Иди себе, играй в песочек. Нечего тебе вертеться около взрослых мужчин. Где был мой рассудок, когда я строил из себя попуга на потеху такой девочке! Ступай домой и чтобы я больше тебя не видел. Зачем я все это проделывал, хоть бы кто-нибудь мне объяснил! Ступай домой, а я постараюсь про все это забыть.

Панчита повиновалась и, не говоря ни слова, медленно пошла к своему дому. Но идя, она все время оборачивалась назад, и ее большие бестрашные глаза не отрывались от Сухого Лога. У калитки она постояла с минуту, все так же глядя на него, потом вдруг повернулась и быстро вбежала в дом.

Старуха Антония растапливала плиту в кухне. Сухой Лог остановился в дверях и жестко рассмеялся.

— Ну разве не смешно? — сказал он. — А, Тония? Этаким старым носорог и втюрился в девочку.

Антония кивнула.

не хорошо, а глубоко несчастно — замечала она, — когда чересчур старый любит muchacha.

— Что уж хорошего, — мрачно отозвался Сухой Лог. — Дурость и больше ничего. И вдобавок от этого очень больно.

Он принес в охапке все атрибуты своего безумия — синий костюм, ботинки, перчатки, шляпу — и свалил их на полу у ног Антонины.

— Отдай своему старiku, — сказал он. — Пусть в них охотится на антилопу.

Когда первая звезда слабо затеплилась на вечернем небе, Сухой Лог достал свое самое толстое руководство по выращиванию клубники и уселся на крылечке почитать, пока еще светло. Тут ему показалось, что на клубничных грядах маячит какая-то фигура. Он отложил книгу, взял киут и отправился на разведку.

Это была Панчита. Она незаметно проскользнула сквозь изгородь и успела уже дойти до середины сада. Увидев Сухого Лога, она остановилась и обратила к нему бестрепетный взгляд.

Слепая ярость овладела Сухим Логом. Сознание своего позора переродилось в неудержимый гнев. Ради этого ребенка он выставил себя на посмеишие. Он пытался подкупить время, чтобы оно, ради его прихоти, обратилось вспять — и над ним надсмеялись. Но теперь он понял свое безумие. Между ним и юностью лежала пропасть, через которую нельзя было построить мост — даже если надеть для этого желтые перчатки. И при виде этой мучительницы, явившейся доминать его новыми проказами, словно озорной мальчишка, злоба наполнила душу Сухого Лога.

— Сказано тебе, не смей сюда ходить! — крикнул он. — Ступай домой!

Панчита подошла ближе.

Сухой Лог щелкнул бичом.

— Ступай домой! — грозно повторил он. — Можешь там разыгрывать свои комедии. Из тебя вышел бы недурной мужчина. Из меня ты сделала такого, что лучше не придумать!

Она подвинулась еще ближе — молча, с тем странным, дразнящим, таинственным блеском в глазах, который всегда так смущал Сухого Лога. Теперь он пробудил в нем бешенство.

Бич свистнул в воздухе. На белом платье Панчиты повыше колена проступила алая полоска.

Не дрогнув, все с тем же загадочным темным огнем в глазах, Панчита продолжала идти прямо к нему, ступая по клубничным грядам. Бич выпал из его дрожащих пальцев. Когда до Сухого Лога оставался один шаг, Панчита протянула к нему руки.

— Господи! Девочка!.. — занкаясь, пробормотал Сухой Лог. — Неужели ты...

Времена года могут иной раз и сдвинуться. И кто знает, быть может, для Сухого Лога настало в конце концов не бабье лето, а самая настоящая весна.

ЕЛКА С СЮРПРИЗОМ

Чероки называли отцом Желтой Кирки. А Желтая Кирка была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из неоструганных сосновых бревен и парусины. Чероки был старателем. Как-то раз, пока его ослик утолял голод кварцем и сосновыми шишками, Чероки выворотил киркой самородок в тридцать унций весом. Чероки застолбил участок и тут же — как радушный хозяин и человек с размахом — разослал всем своим друзьям в трех штатах приглашение приехать, разделить с ним его удачу.

Никто из приглашенных не ответил вежливым отказом. Они прикатили с реки Хилы, с Рио-Пекоса и с Соленой реки, из Альбукерки и Феникса, из Санта-Фе и из всех окрестных старательских лагерей.

Когда около тысячи золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали свое поселение Желтой Киркой, избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли Чероки часовую цепочку из небольших самородков.

Через три часа после окончания церемонии с цепочкой золота на участке Чероки иссякло. Он застолбил не жилу, а карман. Чероки бросил участок и принялся столбить новые — один за другим. Но счастье повернулось к нему спиной. Золотого песка, который он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы оплатить его счет в баре. Зато почти у всех приглашенных им старателей дела шли на лад, и Чероки радостно улыбался и поздравлял их с успехом.

В Желтой-Кирке подобрался народ, уважавший тех, кто не падает духом от неудачи. Старатели спросили Чероки, что они могут для него сделать.

— Для меня? — сказал Чероки. — Да что ж, небольшая судя пришла бы сейчас в самую пору. Надо, пожалуй, попытать счастья в Марипозе. Если нападу там на хорошую залежь, тут же пришлю вам весточку. Вы же знаете — я не из тех, кто скрывает свою удачу от друзей.

В мае Чероки навьючил свое снаряжение на ослика и повернул его задумчивой мышастро-серой мордой на север. Толпа новоселов проводила его до воображаемой городской заставы, и он зашагал дальше, напустивший прощальными криками и пожеланиями успеха. Пять флажков без единого пузырька воздуха между пробкой и содержимым были силком расставлены по его карманам. Чероки просил не забывать, что в Желтой Кирке его всегда будут ждать постель, яичница с салом и горячая вода для бритья, если Фортуна не надумает заглянуть к нему на стоянку в Марипозе, чтобы погреть руки у его костра.

Чероки получил это свое прозвище в соответствии с существовавшей среди старателей номенклатурной системой. Предъявления свистельства о крещении не требовалось — каж-

дый получал свою кланку и без этого. Имя и фамилия человека считались его личной собственностью, а чтобы его удобнее было кланкнуть к стойке и как-то отличить от других облаченных в синие рубахи двуногих, общество присваивало ему какое-нибудь временное звание, титул или прозвище. Повод для этих непредусмотренных законом крестин чаще всего усматривался в личных особенностях каждого. Ко многим без труда приставало название той местности, из которой они, по их словам, прибыли. Некоторые громко и нахально именovali себя «Адамсами», или «Томпсонами», или еще как-нибудь в том же роде, бросая этим тень на свою репутацию. Кое-кто хвастливо и бесстыдно раскрывал свое бесспорно подлинное имя, но это воспринималось как пустое заисывание и не имело успеха среди старателей. Одному типу, завянувшему, что его зовут Честертон Л. К. Белмонт, и предъявившему в доказательство бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были кланки вроде: «Коротыш», «Криволапый», «Техасец», «Лежебока Билл», «Роджер-Выпивоха», «Хромой Райл», «Судья» и «Эд-Калифорния». Черокн получил свое прозвище потому, что он прожил буд-то бы некоторое время среди этого индейского племени.

Двадцатого декабря Болди, почтально, при-скакал в Желтую Кирку с потрясающей но-востью.

— Как вы думаете, кого я видел в Альбукерке? — спросил Болди, заняв свое место у стойки бара. — Чероки. Разряжес в пух и прах, словно какой-нибудь султан турецкий, и швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительной шипучки, и Черокн оплачивал все счета наложенным платжом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами.

— Черокн, должно быть, напал на хорошую жилу, — сказал Эд-Калифорния. — Вот порядочный малый! Я глубоко признателен Черокну за то, что ему наконец повезло.

— Не мешало бы Черокну прятать теперь в Желтую Кирку проводить старых друзей, — заметил кто-то с ноткой огорчения в голосе. — Ну, да так оно всегда бывает. Деньги — лучшее средство, чтоб отшибло память.

— Постойте, — возразил Болди, — я еще не все рассказал. Черокн застолбил трехфуттовую жилу там, в Марипозе, и с каждой тонны руды добывал столько золота, что хоть всякий раз катн в Европу. Эту свою жилу он продал одному синдикату и получил сто тысяч долларов чистоганом. После этого он купил себе шубу из новорожденных котиков, и красные саии, н... ну, угадайте, что еще он надумал?

— В карты релетса, — высказал предположение Техасец, который не мыслил себе развлечений вне азарта.

— Ах, поцелуй меня скорей, моя красотка! — пропел Коротыш, носивший в кармане чью-то фотографию и не снимавший пунцового галстука даже во время работы на участке.

— Купил, выпивую, — решил Роджер-Выпивоха.

— Черокн повел меня к себе в комнату, — продолжал Болди, — и кое-что мне показал. У него там целый склад кукол, барабанов, попрыгунчиков, коньков, мешочков с леденцами, хлопушек, заводных барашков и прочей дребедени. И как вы думаете, что он собирается делать со всем этими бесполезными побрякушками? Ничем не угадаете. Ну так вот, Чероки мне сказал. Он задумал погрузить все это в свои красивые сани н... стойте, стойте, подождите заказывать виски!.. прискакать сюда, в Желтую Кирку, и закатить здешней детворе — ну да, здешней детворе! — такую большую рождественскую елку и такой великий кутеж с раздачей Говорящих Кукол и Больших Столярных Наборов для Маленьких Умных Мальчиков, какие не снялись еще ни одному сосунку к западу от мыса Гаттераса!

После этих слов мннуты на две воцарилось гробовое молчание. Оно было нарушено барменом. Решив, что удобный момент для проявления радушия настал, он двинул по стойке свою батарею стаканов; следом за ними и не столь стремительно поплыла бутылка виски.

— А ты сказал ему? — спросил старатель по кличке Тринидад.

— Да нет, — с запинкой отвечал Болди, — не сказал. Как-то к слову не пришлось. Ведь Чероки уже закупил всю эту муру и уплатил за нее сполна и уж так-то был доволен собой и своей затеей... И мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, я ничего ему не сказал.

— Признаться, я несколько изумлен, — молил Судья, вешая свой тросточку с ручкой из слоновой кости на стойку бара. — Как мог наш друг Чероки составить себе столь превратное представление о своем, так сказать, родном городе?

— Ну, то ли еще бывает на свете, — возразил Болди. — Чероки уехал отсюда семь месяцев назад. Мало ли что могло случиться за это время. Откуда ему знать, что в городе совсем нет ребятишек и пока не ожидается.

— Да ведь если рассудить, — заметил Эд-Калифорния, — так это даже странно, что никаким ветром их к нам еще не занесло. Может, это потому, что в городе пока не налажено снабжение сосками и пеленками?

— А для пушего эффекта, — сказал Болди, — Черокн решил сам нарядиться Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый парик и бороду, в которых он как две капли воды похож на этого парня Лонгфелло, еслн судить по портрету в книжке. И потом еще красивый, обшитый мехом, исподний балахон, чтобы надевать поверх всего, пару красных рукавиц и круглый красный стоячий колпак с отложным кончиком. Позор да и только, как подумаешь, что все это обмундирование пропадает зря, когда столько разных Энн и Виллн мечтают об эдаком чуде!

— А когда Чероки думает прибыть сюда со своим товаром? — спросил Тринидад.

— В сочельник утром, — сказал Болди. — И он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили помещение, и поставили елку, и пригласили дам помочь наряжать ее. Но только таких, которые умеют держать язык за зубами, — чтоб полный был сюрприз для ребят.

Отмеченное собеседниками прискорбное состояние Желтой Кирки соответствовало действительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую руку введенного поселка. Ни разу топот резвых детских ножек не прозвучал на его единственной немощной улице между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло потом. Но в те дни Желтая Кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто еще не видел там горящих ожиданием плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного дня, или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза, не слышал восторженных кликов по поводу великой зимней радости — елки. Словом, не было в Желтой Кирке ничего, что могло бы послужить наградой добросердечному Чероки за тот ворох добра, который он туда вез.

Женщины в Желтой Кирке было всего пять. Из них три — жена пробирщика, хозяйка гостиницы «Счастливая находка» и прачка, намывавшая в своем корыте на утцию золотого песка в день, — составляли оседлую часть женского населения поселка. Остальные две были сестры Спизглер — мисс Фаишон и мисс Ирма — из «Передвижного драматического», который играл сейчас в импровизированном театре «Ам-пир». Но детей в поселке не было. Иной раз мисс Фаишон исполняла не без огонька роль какого-нибудь бойкого подростка, но создаваемый ею образ был плачевно далек от того детского облика, который рисовался воображению как достойный объект праздничных щедрот Чероки.

Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидад не пошел работать на участок, а направился к Судье в гостиницу «Счастливая находка».

— Желтая Кирка опозорит себя навеки, — заявил Тринидад, — если мы не поддержим Чероки в этом его елочном загуле. Чероки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках.

— Это иначинание, — сказал Судья, — встретит всемерную поддержку с моей стороны. Я многим обязан Чероки. Однако я не вижу путей и средств... собственно говоря, отсутствие детей в нашем городе я до этой минуты склонен был рассматривать скорее как благодеяние... хотя, при сложившихся обстоятельствах... тем не менее я все-таки не вижу путей и средств.

— Взгляните на меня, — сказал Тринидад, — и вы увидите. Пути и средства стоят перед вами и уже собрались в путь-дорогу. Я сейчас раздобуду упряжку и пригону на представ-

ление нашего Деда Мороза целый фургон детворы... хотя бы пришлось совершить налет на сиротский приют.

— Эврика! — воскликнул Судья.

— Нет, врете! — решительно возразил Тринидад. — Это я ишел. Я когда-то тоже учил латынь в школе.

— Я буду вас сопровождать, — заявил Судья, размахивая тросточкой. — Тот небольшой дар речи и ораторские способности, которыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда нужно будет убедить наших юных друзей предоставить себя на некоторое время напрокат для осуществления наших планов.

Через час Желтая Кирка была оповещена о плане Тринидада и Судьи и единодушно его одобрила. Каждый, кому было известно, что где-нибудь в радиусе сорока миль от Желтой Кирки проживает семья с малолетними отпрысками, поспешил поделиться своими сведениями. Тринидад тщательно все записал и, не теряя времени, отправился на розыски лошадей и возка.

Первую остановку намечено было сделать у пятнестеной бревенчатой хижины в двадцати милях от Желтой Кирки. Тринидад покривал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, облокотившись о расшатанную калитку. На пороге высипала орава ребятшек, порядком оборванных, но пышущих здоровьем и съедаемых любопытством.

— Вот какое дело, — начал Тринидад. — Мы из Желтой Кирки. Приехали похитить у вас детишек на добровольных, так сказать, началах. Один из наших видных горожан одержим елочной манией и пожелал стать Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город с целым возом разной чепухи, выкрашенной в красную краску и изготовленной в Германии. А у нас в Желтой Кирке самый младший из сорванцов обязался уже сорокапятикалберным револьвером и безопасной бритвой. Так кто же будет кричать «Ох!» и «Ах!», когда на елке зажгутся свечки? Словом, друг, если вы одолжите нам парочку ребят, мы обещаем возвратить их в полной сохранности. В первый день Рождества они будут доставлены обратно в лучшем виде и притащат с собой Робинзонов в красивых перелетах, рога изобилия, красивые барабаны и прочие вещественные доказательства. Ну, как?

— Другими словами, — вмешался Судья, — мы, впервые со дня основания нашего небольшого, но процветающего города, обнаружили его несовершенно в смысле совершенного отсутствия в нем несовершеннолетних. И ввиду приближения того календарного срока, когда обычно предусмотрено награждать, так сказать, нежных и юных различными бесполезными, но ходкими предметами...

— Понятно, — сказал хозяин, уминя большим пальцем табак в трубке. — Не стану задерживать вас, джентльмены. У нас со старухой, скажем прямо, семеро ребятшек. Так вот, я перебрал в уме всю кучу и что-то не вижу, кого из них мы могли бы уступить вам для вашей гулялки. Старуха уже нажарила кукурузных

зерен, а в комодке у нее спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем кутнуть на праздничках, хотя и по-домашнему, без затей. Словом, мне эта ваша выдумка не очень-то по душе, и я ни одного из своих ребят не уступаю. Премного вам благодарен, джентльмены.

Они покатали под гору, взобрались на другой холм и остановили венок у ранчо Уайли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. Судья торжественно прогулел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала двух розовошечных пострелят в складах своей юбки и не улыбуясь до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеется и отрицательно качает головой. Опять отказ!

Когда в низине меж холмами начали сгущаться сумерки, Тринидад и Судья уже исчерпали больше половины своего списка — и все впустую. Они заочевали в придорожной гостинице и на заре снова пустились в путь. В возке не прибавилось ни одного седока.

— Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Тринидад, — что получить ребенка напрокат на праздники так же трудно, как украсть масло у человека, который собрался есть блины.

— Не подлежит никакому сомнению, — отозвался Судья, — что семейные узы приобретают в этот период года исключительную, так сказать, прочность.

В канун праздника они покрыли тридцать миль, сделали четыре бесплодных остривки и произнесли четыре не имевших успеха воззвания. Девтора везде была на вес золота.

Солнце уже клонилось к закату, когда жена старшего обходчика на какой-то глухой железнодорожной ветке, загородив собой еще одно не подлежащее изъятию сокровище, сказала:

— На Гранитной Стрелке работает сейчас новая буфетчица. У нее, кажется, есть сыннишка. Может, она и отпустит его с вами.

В пять часов вечера Тринидад пригнал своих мулов к станции Гранитная Стрелка. Поезд только что отошел, забрав с собой утоливших голод и умиротворенных пассажиров.

На ступеньках железнодорожного буфета они увидели тощего угрюмого мальчонку лет десяти, с папирсой в зубах. В буфете, где пассажиры с налету удовлетворяли свой ночевой аппетит, царил хаос. Молодая, но искушенная заботами женщина в полном изнеможении сидела, откинувшись на спинку стула. Лицо ее хранило следы своеобразной красоты — той, что никогда не исчезает бесследно, и которую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей цель их приезда.

— Да я буду рада, если вы хоть ненадолго заберете с собой Бобби, — устало сказала женщина. — Крутишься тут, как заведенная, с утра до ночи — некогда за ним присмотреть. А он набирается дурных примеров от взрослых. Какне уж тут елки — вот разве что у вас...

Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную елку с подарками.

— А потом, мой юный друг, — добавил Судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы в ознаменование того, как некогда волхвы...

— А, бросьте заливать! Я не ребенок, — насмешливо прищурившись, прервал его Бобби. — Нет никаких Дедморозов. Это вы, дяди, сами покупаете в лавке всякую дрянь и суετε ребятам ночью под подушки. И пачкаете камиинными щипцами пол — будто Дед Мороз приехал на санях.

— Ну, может, и так, — примирительно сказал Тринидад. — Но елки-то ведь всамделишные. А у нас будет знаешь какая! Как универсальный магазин в Альбукерке — все игрушки не дешевле десяти центов. И барабаны будут, и волчки, и нове ковче, и...

— К черту! — холодно сказал Бобби. — Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не нгрущечное, а настоящее, чтоб стрелять диких кот-тов. Так у вас небось не найдется ружья на вашей дуральной елке?

— Поручиться не могу, — сказал Тринидад дипломатично, — ио кто его знает... Поедем с нами, а там видно будет.

Заронив этот слабый луч надежды в душу Бобби, вербовщики вынудили у него согласие пойти навстречу филантропическому порыву Чероки и пустились со своим единственным трофеем в обратный путь.

В Желтой Кирке тем временем помещение пустовавшего склада было превращено в праздничный зал, разукрашенный, как чертоги доброй аризонской феи. Дамы потрудились не зря. Елка, вся в свечках, серебряной мишуре и игрушках, которых хватило бы на добрых два десятка ребят, высилась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу — не покажется ли венок с похитителями детей. Еще в полдень Чероки влетел в поселок на красивых санях, заваленных свертками, кулками и коробками самой различной формы и размера. И так был он увлечен выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в поселке, а открыт ему глаза на позорное состояние Желтой Кирки ни у кого не хватило духу; к тому же все твердо верили, что Тринидад и Судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел.

Когда солнце село, Чероки хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на обветренном морщинистом лице удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза и еще один таинственный пакет с игрушками.

— Как только ребята соберутся, — наказывал он членам добровольного елочного комитета, — зажгите елку и поиграйте с ними в кошки-мышки. А когда у них пойдет дым коромыслом, вот тогда... тогда Дед Мороз потихоньку проскользнет в дверь. Подарков, думается мне, должно хватить.

Дамы порхали вокруг елки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сестры Спэнглер тоже были здесь: одна в костюме леди Вайолет де Вир, другая — служанки Мари, персонажей из новой пьесы «Невеста рудокопа». Спектакли в театре начинались только в девять часов, и актрисы, с благосклонного разрешения комитета, помогали наряжать елку. Кто-нибудь то и дело выскакивал на крыльцо и прислушивался — не возвращается ли упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо надвигалась ночь и пора было зажигать елку, да и Чероки в любую минуту мог, не спросив, появиться на пороге в полном облачении рождественского Деда.

Но вот на улице заскрипел возок, и «похитители» подъехали к складу. Дамы всполошились и с восторженными восклицаниями бросились зажигать свечи. Мужчины беспокойно прохаживались из угла в угол или стояли небольшими группами, смущенно переминяясь с ноги на ногу.

Тринидад и Судья, истомленные долгими странствиями, вступили в зал, ведя за руку тщедушного, озорного с виду мальчишку. Мальчишка презрительным взглядом исподлобья окинул пестро разряженную елку.

— А где же остальные дети? — спросила жена прорицателя, игравшая первую скрипку во всех светских начинаниях города.

— Сударыня, — со вздохом отвечал Тринидад, — отправляться на разведку за детьми перед праздником — все равно что искать серебро в известняках. Так называемые родительские чувства — сплошная для меня загадка. Похоже, что папашам и мамашам совершенно безразлично, если их потомство все триста шестьдесят четыре дня в году будет тонуть, объедаться ядовитыми дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей. Но в сочельник оно, вынь да положь, должно отравлять своим присутствием семейные сборища. Этот вот экземпляр, сударыня, — единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности.

— Ах, прелестное дитя! — проворковала мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф к середине сцены.

— Отвяжитесь! — хмуро буркнул Бобби. — Кто это — «дитя»? Уж не вы ли?

— Дерзкий мальчишка! — ахнула мисс Ирма, не успев погасить эмалевой улыбки.

— Старались, как могли, — сказал Тринидад. — Обидно за Чероки, да что же поделаешь.

Тут распахнулась дверь, и появился Чероки в традиционном костюме Деда Мороза. Белые космы парика и пышная белая борода закрывали почти все его лицо — видны были только темные, искрившиеся весельем глаза. За спиной он нес мешок.

Все замерли при его появлении. Даже сестры Спэнглер, забыв принять кокетливые позы, с любопытством уставились на высокого

фигуру рождественского Деда. Бобби, насулавшись, засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое, обещанное побратушками дерево. Чероки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам. Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдет. Чероки направился к Бобби и протянул ему руку в красной рукавице.

— Поздравляю тебя с праздником, мальчуган, — сказал он. — Можешь брать с елки все, что тебе нравится, — мы сейчас достанем. Ну, давай руку, поздоровайся с Дедом Морозом.

— Нет никаких Дедморозов, — шмыгнув носом, проворчал Бобби. — У тебя фальшивая борода. Из старых козлиных оческов. Я не ребенок. На черта мне эти куклы и оловянные лошадки? Кучер сказал, что дадут ружье. А у тебя его нет. Я хочу домой.

Тринидад пришел на помощь. Он схватил руку Чероки и горячо ее потряс.

— Ты уж прости, Чероки, — сказал он. — Нет у нас в Желтой Кирке никаких ребят, да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твое суарз, да вот, кроме этой сардинки, ничего не удалось выловить. А он, понимаешь ли, атенст и не верит в рождественских делов. Нам очень совестно, что ты зря потратился. Да ведь мы с Судьей думали, что притащим сюда целую орду мелюзги и все твои свистульки пойдут в ход.

— Ну и ладно, — спокойно сказал Чероки. — Подумаешь, какие траты, есть о чем говорить! Свалим все это баракло в старую шахту да и дело с концом. Но надо же быть таким ослом — прямо из головы вон, что в Желтой Кирке нету ребятишек!

Гости меж тем с похвальным усердием, хотя и без особого успеха, делали вид, что веселятся вовсю.

Бобби отошел в угол и уселся на стул. Холодная скука была отчетливо написана на его лице. Чероки, еще не вполне отвыкнув от своей роли, подошел и сел рядом.

— Где ты живешь, мальчик? — вежливо осведомился он.

— На Гранитной Стрелке, — нехотя процедила Бобби.

В зале было жарко. Чероки снял свой колпак, парик и бороду.

— Эй! — несколько оживившись, произнес Бобби. — А ведь я тебя знаю.

— Разве мы с тобой встречались, малыш?

— Не помню. А вот карточку твою я видел.

Сто раз.

— Где?

Бобби колебался.

— Дома. На комод.

— Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут?

— Роберт Лэмсен. Это материна карточка. Она прячет ее ночью под подушку. Я раз видел даже, как она ее целовала. Вот уж

нипочем бы не стал. Но женщины все на один лад.

Чероки встал и поманил к себе Тринидада. — Посиди с мальчиком, я сейчас вернусь. Пойду сниму этот балахон и заложу сани. Надо отвезти мальчишку домой.

— Ну, безбожник, — сказал Тринидад, занимая место Чероки. — Ты, брат, значит, настолько одряхлел и всем пресытился, что тебя уже не интересует разная ерунда вроде сладостей и игрушек?

— Ты неприятный тип, — язвительно сказал Бобби. — Ты обещал, что будет ружье. А здесь человеку даже покурить нельзя. Я хочу домой.

Чероки пригнал сани к крыльцу, и Бобби водрузили на сиденье. Резвые лошади бойко рванулись вперед по укатанной снежной дороге. На Чероки была его пятисотдолларовая шуба из новорожденных котиков. меховая полость приятно грела.

Бобби вытащил из кармана папиросу и принялся чиркать спичкой.

— Брось папиросу! — сказал Чероки спокойно, но каким-то новым голосом.

После некоторого колебания Бобби швырнул папиросу в снег.

— Брось всю коробку, — приказал новый голос.

Мальчик повиновался не сразу, но все же исполнил и этот приказ.

— Эй! — сказал вдруг Бобби. — А ты мне нравишься. Не пойму даже почему. Попробовал бы кто-нибудь так надо мной командовать!

— Послушай, малыш, — сказал Чероки обыкновенным голосом. — А ты не врешь, что твоя мать целовала эту карточку? Ту, что на меня похожа?

— Не вру. Сам видел.

— Ты, кажется, что-то говорил насчет ружья?

— Ну да. А что? Есть у тебя?

— Завтра получишь. С серебряными нашивками.

Чероки поглядел на часы.

— Половина девятого. Что ж, мы с тобой доберемся до Гранитной Стрелки как раз к празднику, минута в минуту. Тебе не холодно? Садись поближе, сынок.

ОДИН ЧАС ПОЛНОЙ ЖИЗНИ

Существует поговорка, что тот еще не жил полной жизнью, кто не знал бедности, любви и войны. Справедливость такого суждения должна прельстить всякого любителя сокращенной философии. В этих трех условиях заключается все, что стоит знать о жизни. Поверхностный мыслитель, возможно, счел бы, что к этому списку следует прибавить еще и богатство. Но это не так. Когда бедняк находит за подкладкой жилета давным-давно провалив-

шуюся в прореху четверть доллара, он забрасывает лот в такие глубины жизненной радости, до каких не добраться ни одному миллионеру.

По-видимому, так распорядилась мудрая исполнительная власть, которая управляет жизнью, что человек неизбежно проходит через все эти три условия; и никто не может быть избавлен от всех трех.

В сельских местностях эти условия не имеют такого значения. Бедность гнетет меньше, любовь не так горяча, война сводится к дракам из-за соседской курицы или границы участка. Зато в больших городах наш афоризм приобретает особую правдивость и силу, и некоему Джону Гопкинсу досталось в удел испытать все это на себе в сравнительно короткое время.

Квартира Гопкинса была такая же, как тысячи других. На одном окне стоял фикус, на другом сидел блохастый терьер, изнывая от скуки.

Джон Гопкинс был такой же, как тысячи других. За двадцать долларов в неделю он служил в девятиэтажном кирпичном доме, занимаясь не то страхованием жизни, не то подъемниками Бокля, а может быть, педикюром, ссудами, блоками, переделкой горжеток, изготовлением искусственных рук и ног, или же обучением вальсу в пять уроков с гарантией. Не наше дело догадываться о призвании мистера Гопкинса, судя по этим внешним признакам.

Миссис Гопкинс была такая же, как тысячи других. Золотой зуб, наклонность к сидячей жизни, охота к перемене мест по воскресеньям, тяга в гастрономический магазин за домашними лакомствами, погоня за дешевой на распродажах, чувство превосходства по отношению к жилище третьего этажа с настоящими страусовыми перьями на шляпке и двумя фамилиями на двери, тягучие часы, в течение которых она липла к подоконнику, бдительное уклонение от визитов сборщика взносов за мебель, неутомимое внимание к акустическим эффектам мусоропровода — все эти свойства обитательницы нью-йоркского захолустья были ей не чужды.

— Еще один миг, посвященный рассуждениям, — и рассказ двинется с места.

В большом городе происходят важные и неожиданные события. Заворачиваешь за угол и попадаешь острием зонта в глаз старому знакомому из Кутни-Фоллс. Гуляешь в парке, хочешь сорвать гвоздик — и вдруг на тебя нападают бандиты, скорая помощь везет тебя в больницу, ты женишься на сиделке; разводишься, перебиваешься кое-как с хлеба на квас, стоишь в очереди в ночлежку, женишься на богатой наследнице, отдаешь белье в стирку, платишь членские взносы в клуб — и все это в мгновение ока. Бродишь по улицам, кто-то манит тебя пальцем, роняет к твоим ногам платок, на тебя роняют кирпич, лопается трос в лифте или твой банк, ты не ладишь с женой или твой желудок не ладит с готовыми обеда-

ми — судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине, откупоренном официантом, которому ты не дал на чай. Город — жизнерадостный малыш, а ты — красная краска, которую он слизывает со своей игрушки.

После уплотненного обеда Джон Гопкинс сидел в своей квартире строгого фасона, тесной, как перчатка. Он сидел на каменном диване и сытыми глазами разглядывал «Искусство на дом» в виде картинки «Буря», прикрепленной кнопками к стене. Миссис Гопкинс вялым голосом жаловалась на кухонный чад из соседней квартиры. Блосхастый терьер человека ненавистнически покосился на Гопкинса и презрительно обнажил клыки.

Тут не было ни бедности, ни войны, ни любви; но и к такому бесплодному стволу можно привить эти три основы полной жизни.

Джон Гопкинс попытался вклинить изюминку разговора в пресное тесто существования.

— В конторе ставят новый лифт, — сказал он, отбрасывая личное местоимение, — а шеф начал отпугивать бакенбарды.

— Да что ты говоришь! — отозвалась миссис Гопкинс.

— Мистер Унплз пришел нынче в новом весеннем костюме. Мне очень даже нравится. Такой серый, в... — Он замолчал, вдруг почувствовав, что ему захотелось курить. — Я, пожалуй, пройдусь до угла, куплю себе сигару за пять центов, — заключил он.

Джон Гопкинс взял шляпу и направился к выходу по затхлым коридорам и лестницам доходного дома.

Вечерний воздух был мягок, на улице звонко распевали дети, беззаботно прыгая в такт непонятным словам напева. Их родители сидели на порогах и крылечках, покуривая и болтая на досуге. Как это ни странно, пожарные лестницы давали приют влюбленным парочкам, которые раздували начинающийся пожар, вместо того чтобы потушить его в самом начале.

Табачную лавочку на углу, куда направлялся Джон Гопкинс, содержал некий торговец по фамилии Фрешмейер, который не ждал от жизни ничего хорошего и всю землю рассматривал как бесплодную пустыню. Гопкинс, не знакомый с хозяином, вошел и добродушно спросил «пучок шпината, не дороже трамвайного билета». Этот неуместный намек только усугубил пессимизм Фрешмейера; однако он предложил покупателю товар, довольно близко отвечающий требованию. Гопкинс откусил кончик сигары и закурил ее от газового рожка. Сунув руку в карман, чтобы заплатить за покупку, он не нашел там ни цента.

— Послушайте, дружище, — откровенно объяснил он. — Я вышел из дому без мелочи. Я вам заплачу в первый же раз, как буду проходить мимо.

Сердце Фрешмейера дрогнуло от радости. Этим подтверждалось его убеждение, что весь

мир — сплошная мерзость, а человек, есть ходячее зло. Не говоря худого слова, он обошел вокруг прилавка и с кулаками набросился на покупателя. Гопкинс был не такой человек, чтобы капитулировать перед впавшим в пессимизм лавочником. Он моментально подставил Фрешмейеру золотисто-лиловый сияк под глазом в уплату за удар, нанесенный горяча любителем наличных.

Стремительная атака неприятеля отбросила Гопкинса на тротуар. Там и разыгралось сражение: мирный индеец со своей деревянной улыбкой был повержен в прах, и уличные любители побойсь столпились вокруг, созерцая этот рыцарский поединок.

Но тут появился неизбежный полисмен, что предвещало неприятности и обидчику и его жертве. Джон Гопкинс был мирный обыватель и по вечерам сидел дома, решая ребусы, однако он был не лишен того духа сопротивления, который разгорается в пылу битвы. Он повалил полисмана прямо на выставленные бакалейшником товары, а Фрешмейеру дал такую затрепину, что тот пожалел было, зачем он не завел обыкновения предоставлять хотя бы некоторым покупателям кредит до пяти центов. После чего Гопкинс бросился бегом по тротуару, а в погоню за ним — табачный торговец и полисмен, мундир которого наглядно доказывал, почему на вывеске бакалейщика было написано: «Яйца дешевле, чем где-либо в городе».

На бегу Гопкинс заметил, что по мостовой, держась наравне с ним, едет большой низкий гоночный автомобиль красного цвета. Автомобиль подъехал к тротуару, и человек за рулем сделал Гопкинсу знак садиться. Он вскочил на ходу и повалился на мягкое оранжевое сиденье рядом с шофером. Большая машина, фыркающая все глуше, летела, как альбатрос, уже свернув с улицы на широкую авеню.

Шофер вел машину, не говоря ни слова. Автомобильные очки и дьявольский наряд водителя маскировали его как нельзя лучше.

— Спасибо, друг, — благодарно обратился к нему Гопкинс. — Ты, должно быть, и самый честный малый, тебе противно глядеть, когда двое нападают на одного. Еще немножко, и мне пришлось бы плохо.

Шофер и ухом не повел — будто не слышал. Гопкинс перевернул плечами и стал жевать сигару, которую так и не выпустил из зубов в продолжение всей свалки.

Через десять минут автомобиль влетел в распахнутые настежь ворота изящного особняка и остановился. Шофер выскочил из машины и сказал:

— Идите скорей. Мадам объяснит все сама. Вам оказывают большую честь, мсье. Ах, если бы мадам поручила это Арманду! Но нет, я всего-навсего шофер.

Оживленно жестикулируя, шофер провел Гопкинса в дом. Его впустили в небольшую, но роскошно убранную гостиную. Навстречу им поднялась дама, молодая и прелестная, как

видение. Ее глаза горели гневом, что было ей весьма к лицу. Тоненькие, как ниточки, сильно изогнутые брови красиво хмурились.

— Мадам,— сказал шофер, низко кланяясь,— имею честь докладывать, что я был у мсье Лонга и не застал его дома. На обратном пути я увидел, что вот этот джентльмен, как это сказать, бьется с неравными силами — на него напали пять... десять... тридцать человек, и жандармы тоже. Да, мадам, он, как это сказать, побил одного... три... восемь полицесменов. Если мсье Лонга нет дома, сказал я себе, то этот джентльмен так же сможет оказать услугу мадам, и я привез его сюда.

— Очень хорошо, Арман,— сказала дама,— можете идти.— Она повернулась к Гопкинсу.

— Я посылаю шофера за моим кузеном, Уолтером Лонгом. В этом доме находится человек, который обращался со мной дурно и оскорбил меня. Я пожаловалась тете, а она смеется надо мной. Арман говорит, что вы храбры. В наше прозаическое время мало таких людей, которые были бы и храбры и рыцарски благородны. Могли ли рассчитывать на вашу помощь?

Джон Гопкинс сунул окуроч сигары в карман пиджака и, взглянув на это очаровательное существо, впервые в жизни ощутил романтическое волнение. Это была рыцарская любовь, вовсе не означавшая, что Джон Гопкинс изменил квартире с блохастым терьером и своей подруге жизни. Он женился на ней после пикника, устроенного вторым отделением союза этниктеиц, поспорив со своим приятелем Билли Макманузом на новую шляпу и порцию рыбной солянки. А с этим неземным созданием, которое молило его о помощи, не могло быть и речи о солянке; что же касается шляпы, то лишь золотая корона с бриллиантами была ее достойна!

— Слушайте,— сказал Джон Гопкинс,— вы мне только покажите этого парня, который действует вам на нервы. До сих пор я, правда, не интересовался драками, но нынче вечером никумо не спущу.

— Он там,— сказала дама, указывая на закрытую дверь.— Идите: Вы уверены, что не боитесь?

— Я?— сказал Джон Гопкинс.— Дайте мне только розу из вашего букета, ладно?

Она дала ему красную-красную розу. Джон Гопкинс поцеловал ее, воткнул в жилетный карман, открыл дверь и вошел в комнату. Это была богатая библиотека, освещенная мягким, но сильным светом. В кресле сидел молодой человек, погруженный в чтение.

— Книжки о хорошем тоне — вот что вам нужно читать,— резко сказал Джон Гопкинс.— Подите-ка сюда, я вас проучу. Да как вы смеете грубить даме?

Молодой человек слегка изумился, после чего он томию поднялся с места, ловко схватил Гопкинса за руки и, невзирая на сопротивление, повел его к выходу на улицу.

— Осторожнее, Ральф Брансcombe!— воск-

ликнула дама, которая последовала за ними.— Обращайтесь осторожней с человеком, который доблестно пытался защитить меня.

Молодой человек тихонько вытолкнул Джона Гопкинса на улицу и запер за ним дверь.

— Бесс,— сказал он спокойно,— напрасно ты читаешь исторические романы. Каким образом попал сюда этот субъект?

— Его привез Арман,— сказала молодая дама.— По-моему, это такая низость с твоей стороны, что ты не позволил мне взять сенбернара. Вот потому я и послала Армана за Уолтером. Я так рассердилась на тебя.

— Будь благоразумна, Бесс,— сказал молодой человек, беря ее за руку.— Эта собака опасна. Она перекусала уже нескольких человек на псарне. Пойдем лучше скажем тете, что мы теперь в хорошем настроении.

И они ушли рука об руку.

Джон Гопкинс подошел к своему дому. На крыльце играла пятилетняя дочка швейцара. Гопкинс дал ей красивую красную розу и пошел к себе.

Миссис Гопкинс лениво завертывала волосы в папильотки.

— Купил себе сигару?— спросила она равнодушно.

— Конечно,— сказал Гопкинс,— и еще прошелся немножко по улице. Вечер хороший.

Он уселся на каменный диван, достал из кармана окуроч сигары, закурил его и стал рассматривать грациозные фигуры на картинке «Буря»; висевшей против него и стеле.

— Я тебе говорил про костюм мистера Уилпза,— сказал он.— Такой серый, в мелкую, совсем незаметную клеточку, и сидит отлично.

ПЕРСИКИ

Медовый месяц был в разгаре. Квартирку украшал новый ковер самого яркого красного цвета, портьеры с фестонами и полдюжины глиняных пивных кружек с оловянными крышками, расставленные в столовой на выступе деревянной панели. Молодым все еще казалось, что они парят в небесах. Ни он, ни она никогда не видали, «как примула желтеет в траве у ручейка»; но если бы подобное зрелище представилось их глазам в указанный период времени, они бесспорно усмотрели бы в нем — ну, все то, что, по мнению поэта, полагается усмотреть в цветущей примуле настоящему человеку.

Новобрачная сидела в качалке, а ее ноги опирались на земной шар. Она утопала в розовых мечтах и в шелку того же оттенка. Ее занимала мысль о том, что говорят по поводу ее свадьбы с Малышом Мак-Гарри в Гренландии, Белуджистане и на острове Тасмания. Впрочем, особого значения это не имело. От Лондона до созвездия Южного Креста не нашлось бы боксера полусреднего веса, способного

продержаться четыре часа — да что часа! четыре раунда — против Малыша Мак-Гарри. И вот уже три недели, как он принадлежит ей; и достаточно прикосновения ее мизинца, чтобы заставить покачнуться того, против кого бес- силны кулаки прославленных чемпионов ринга.

Когда любим мы сами, слово «любовь» — синоним самопожертвования и отречения. Когда любят соседн, живущие за стеной, это слово означает самоничтожение и нахальство.

Новобрачная скрестила свои ножки в туфельках и задумчиво поглядела на потолок, расписанный купидонами.

— Милый, — произнесла она с видом Клеопатры, высказывающей Антонию пожелание, чтобы Рим был доставлен ей на дом в оригинальной упаковке. — Милый, я, пожалуй, съела бы персик.

Малыш Мак-Гарри встал и надел пальто и шляпу. Он был серьезен, строен, сентиментален и сметлив.

— Ну что ж, — сказал он так хладнокровно, как будто речь шла всего лишь о подписании условий матча с чемпионом Англии. — Сейчас пойду принесу.

— Только ты недолго, — сказала новобрачная. — А то я соскучусь без своего гадкого мальчика. И смотри, выбери хороший, спелый.

После длительного прощания, не менее бурного, чем если бы Малышу предстояло черевато опасностям путешествия в дальние страны, он вышел на улицу.

Тут он призадумался, и не без оснований, так как дело происходило ранней весной и казалось маловероятным, чтобы где-нибудь в промозглой сырости улиц и в холоде лавок удалось обрести вождельный сладостный дар золотистой зрелости лета.

Дойдя до угла, где помещалась палатка италянка, торгующего фруктами, он остановился и окинул презрительным взглядом горы завернутых в папиросную бумагу апельсинов, глянцевиных, румяных яблок и бледных, истосковавшихся по солнцу бананов.

— Персики есть? — обратился он к соотечественнику Данте, влюбленного в влюбленных.

— Нет персиков, сньюор, — вздохнул торговец. — Будут разве только через месяц. Сейчас не сезон. Вот апельсины есть хорошие. Возьмите апельсины?

Малыш не удостоил его ответом и продолжал понск. Он направился к своему давнишнему другу и поклоннику, Джастису О'Кэллэхэну, содержателю предприятия, которое соединяло в себе дешевой ресторанчик, ночное кафе и кегельбан. О'Кэллэхэн оказался на месте. Он расхаживал по ресторану и наводил порядок.

— Срочное дело, Кэл, — сказал ему Малыш. — Моей старушке взбрело на ум полакомиться персиком. Так что если у тебя есть хоть один персик, давай его скорей сюда. А если они у тебя водятся во множественном числе, давай несколько — пригодятся.

— Весь мой дом к твоим услугам, — отвечал О'Кэллэхэн. — Но только персики ты в нем не найдешь. Сейчас не сезон. Даже на Бродвее и то, пожалуй, не достать персиков в эту пору года. Жаль мне тебя. Ведь если у женщины на что-нибудь разгорелся аппетит, так ей подавай именно это, а не другое. Да и час поздний, все лучшие фруктовые магазины уже закрыты. Но, может быть, твоя хозяйка помрится на апельсине? Я как раз получил ящик отборных апельсинов, так что ешь...

— Нет, Кэл, спасибо. По условиям матча требуются персики, и замена не допускается. Пойду искать дальше.

Время близилось к полуночи, когда Малыш вышел на одну из западных авеню. Большинство магазинов уже закрылось, и в тех, которые еще были открыты, его чуть ли не на смех поднимали, как только он заговаривал о персиках.

Но где-то там, за высокими стенами, сидела новобрачная и доверчиво дожидалась заморского гостинца. Так неужели же чемпион в полусреднем весе не раздобудет ей персика? Неужели он не сумеет перешагнуть через преграды сезонов, климатов и календарей, чтобы порадовать свою любимую сочным желтым или розовым плодом?

Вперед показалась освещенная витрина, переливавшаяся всеми красками зимнего изобилия. Но не успел Малыш заприметить ее, как свет погас. Он помчался во весь дух и настиг фруктошника в ту минуту, когда тот запер дверь лавки.

— Персики есть? — спросил он решительно.

— Что вы, сэр! Недели через две-три, не раньше. Сейчас вы их во всем городе не найдете. Если где-нибудь и есть несколько штук, так только тепличные, и то не берусь сказать, где именно. Разве что в одном из самых дорогих отелей, где люди не знают, куда девать деньги. А вот, если угодно, могу предложить превосходные апельсины, только сегодня парходом доставлена партия.

Дойдя до ближайшего угла, Малыш с минуту постоял в раздумье, потом решительно свернул в темный переулок и направился к дому с зелеными фонарями у крыльца.

— Что, капитан здесь? — спросил он дежурного полицейского сержанта.

Но в это время сам капитан вынырнул из-за спины дежурного. Он был в штатском и имел вид чрезвычайно занятого человека.

— Здорово, Малыш! — приветствовал он боксера. — А я думал, вы совершаете свадебное путешествие.

— Вчера вернулся. Теперь я вполне оседлый гражданин города Нью-Йорка. Пожалуй, даже займусь муниципальной деятельностью. Скажите-ка мне, капитан, хотели бы вы сегодня ночью накрыть заведение Денвера Дика?

— Хватились! — сказал капитан, покручивая ус. — Денвера прихлопнули еще два месяца назад.

— Правильно, — согласился Малыш. — Два

месяца назад Рафферти выкурл его с Сорок третьей улицы. А теперь он обосновался в вашем околотке и игра у него идет крупней, чем когда-либо. У меня с Денвером свои счеы. Хотите, проведу вас к нему?

— В моем околотке?— зарычал капитан.— Вы в этом уверены, Малыш? Если так, сочту за большую услугу с вашей стороны. А вам что, известен пароль? Как мы попадем туда?

— Взломав дверь,— сказал Малыш.— Ее еще не успели оковать железом. Возьмите с собой человек десять. Нет, мне туда вход закрыт. Денвер пытался меня прикончить. Он думает, что это я выдал его в прошлый раз. Но, между прочим, он ошибается. Однако поторопитесь, капитан. Мне нужно пораньше вернуться домой.

И десять минут не прошло, как капитан и двенадцать его подчиненных, следуя за своим проводником, уже входили в подъезд темного и вполне благопристойного с виду здания, где в дневное время вершили свои дела с десятков солидных фирм.

— Третий этаж, в конце коридора,— негромко сказал Малыш.— Я пойду вперед.

Двое дюжих молодцов, вооруженных топорами, встали у двери, которую он им указал.

— Там как будто все тихо,— с сомнением в голосе произнес капитан.— Вы уверены, что не ошиблись. Малыш?

— Ломайте дверь,— вместо ответа командовал Малыш.— Если я ошибся, я отвечаю.

Топоры с треском врезались в незащищенную дверь. Через проломы хлынул яркий свет. Дверь рухнула, и участники облавы с револьверами наготове ворвались в помещение.

Просторная зала была обставлена с крикливою роскошью, отвечавшей вкусам хозяина, уроженца Запада. За несколькими столами шла игра. С полсотни заведущих, находившихся в зале, бросились к выходу, желая любой ценой ускользнуть из рук полиции. Заработали полицейские дубинки. Однако большнству игроков удалось уйти.

Случилось так, что в эту ночь Денвер Дик удостоил притон своим личным присутствием. Он и кинулся первым на непрошенных гостей, рассчитывая, что численный перевес позволит сразу смять участников облавы. Но с той минуты, как он увидел среди них Малыша, он уже не думал больше ни о ком и ни о чем. Большой и грузный, как настоящий тяжеловес, он с восторгом навалился на своего более хрупкого врага, и оба, сцепившись, покатились по лестнице вниз. Только на площадке второго этажа, когда они, наконец, расцепились и встали на ноги, Малыш смог поуетить в ход свое профессиональное мастерство, оставшееся без применения, пока его стискивал в яростном объятии любитель сильных ощущений весом в двести фунтов, которому грозила потеря имущества стоимостью в двадцать тысяч долларов.

Уложив своего противника, Малыш бро-

сил наверх и, пробежав через игорную залу, очутился в комнате поменьше, отделенной от залы аркой.

Здесь стоял длинный стол, уставленный ценным фарфором и серебром и ломившийся от дорогих и изысканных яств, к которым, как принято считать, питают пристрастие рыцари удачи. В убранстве стола тоже сказывался широкий размах и экзотические вкусы джентльмена, приходившегося тезкой столице одного из западных штатов.

Из-под свисающей до полу белоснежной скатерти торчал лакированный штиблет сорок пятого размера. Малыш ухватился за него и извлек на свет божий негра-официанта во фраке н белом галстуке.

— Встань!— командовал Малыш.— Ты состоишь при этой кормушке?

— Да, сэр, я состоял. Неужели нас опять сцапали, сэр?

— Похоже на то. Теперь отвечай: есть у тебя тут персик? Если нет, то, значит, я получил нокаут.

— У меня было три дюжны персиков, сэр, когда началась игра, но боюсь, что джентльмены съели все до одного. Может быть, вам угодно скушать хороший, свежий апельсин, сэр?

— Переверни все вверх дном,— строго приказал Малыш,— но чтобы у меня были персик. И пошевеливайся, не то дело кончится плохо. Если еще кто-нибудь сегодня заговорит со мной об апельсинах, я из него дух вышибу.

Тщательный обыск на столе, отягощенном дорогостоящими шедеврами Денвера Дика, помог обнаружить один-единственный персик, случайно пощаженный эпикурейскими челюстями любителей азарта. Он тут же был во дворен в карман Малыша, и наш неутомимый фуражир пустился со своей добычей в обратный путь. Выйдя на улицу, он даже не взглянул в ту сторону, где люди капитана вталкивали своих пленников в полицейский фургон, и быстро зашагал по направлению к дому.

Легко было теперь у него на душе. Так рыцари Круглого Стола возвращались в Камелот, испытав много опасностей и совершив немало подвигов во славу своих прекрасных дам. Подобно им, Малыш получил приказание от своей дамы и сумел его выполнить. Правда, дело касалось всего только персика, но разве не подвигом было раздобыть среди ночи этот персик в городе, еще скованном февральскими снегами? Она попросла персик, она была его женой; и вот персик лежит у него в кармане, согретый ладонью, которую он придергивал его из страха, как бы не выронить и не потерять.

По дороге Малыш зашел в ночную аптеку и сказал хозяину, вопросительно уставившемуся на него сквозь очки:

— Послушайте, любезнейший, я хочу, чтобы вы проверили мои ребра, все ли они целы. У

меня вышла маленькая размолвка с приятелем, и мне пришлось сосчитать ступени на одном или двух этажах.

Аптекарь внимательно осматрел его.

— Ребра все целы, — гласило вынесение им заключение. — Но вот здесь имеется кровоподтек, судя по которому можно предположить, что вы свалились с небоскреба «Утюг», и не один раз, а по меньшей мере дважды.

— Не имеет значения, — сказал Малыш. — Я только попрошу у вас платяную шетку.

В уютном свете лампы под розовым абажуром сидела новобрачная и ждала. Нет, не перевелись еще чудеса на белом свете. Ведь вот одно лишь словечко о том, что ей чего-то хочется — пусть это будет самый пустяк: цветочек, граиат или — ах да, персик, — и ее супруг отважно пускается в ночь, в широкий мир, который не в силах против него устоять, и ее желание исполняется.

И в самом деле — вот он склонился над ее креслом и вкладывает ей в руку персик.

— Гадкий мальчик! — влюбленно проворковала она. — Разве я просила персик? Я бы гораздо охотнее съела апельсин.

Благословения будь, новобрачная!

ПОКА ЖДЕТ АВТОМОБИЛЬ

Как только начало смеркаться, в этот тихий уголок тихого маленького парка опять пришла девушка в сером платье. Она села на скамью и открыла книгу, так как еще с полчасца можно было читать при дневном свете.

Повторяем: она была в простом сером платье — простом ровно настолько, чтобы не бросалась в глаза безупречность его покроя и стили. Негустая вуаль спускалась с шляпки в виде тюба на лицо, снявшее спокойной, строгой красотой. Девушка приходила сюда в это же самое время и вчера и позавчера, и был некто, кто знал об этом.

Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, возлагая жертвы на алтарь Случая, в надежде на милость этого великого идола. Его благочестие было вознаграждено, — девушка перевернула страницу, книга выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых два шага.

Не теряя ни секунды, молодой человек алчно ринулся к яркому томку и подал его девушке, строго придерживаясь того стили, который укоренился в наших парках и других общественных местах и представляет собой смесь галаитности с надеждой, умеряемых почтением к постовому полисмену на углу. Приятным голосом он рисковал опустить незначительное замечание относительно погоды — обычная вступительная тема, ответственная за многие несчастья на земле, — и замер на месте, ожидая своей участи.

Девушка не спеша окинула взглядом его

скромный аккуратный костюм и лицо, не отличающееся особой выразительностью.

— Можете сесть, если хотите, — сказала она глубоким, неторопливым контральто. — Право, мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно уже темно и читать трудно. Я предпочитаю поболтать.

Раб Случая с готовностью опустился на скамью.

— Известно ли вам, — начал он, изрекая формулу, которой обычно открывают митинг ораторы в парке, — что вы самая что ни на есть потрясающая девушка, какую я когда-либо видел? Я вчера не спускал с вас глаз. Или вы, деточка, даже не заметили, что кто-то совсем одурел от ваших прелестных глазенок?

— Кто бы ни были вы, — произнесла девушка ледяным тоном, — прошу не забывать, что я — леди. Я прошу вас слова, с которыми вы только что обратились ко мне, — заблуждение ваше, несомненно, вполне естественно для человека вашего круга. Я предложила вам сесть; если мне приглашение позволяет вам называть меня «деточкой», я беру его назад.

— Ради бога, простите, — взмолился молодой человек. Самодовольство, написанное на его лице, сменилось выраженным смиренным и раскаянием. — Я ошибся; понимаете, я хочу сказать, что обычно девушки в парке... вы этого, конечно, не знаете, и...

— Оставим эту тему. Я, конечно, это знаю. Лучше расскажите мне об всех этих людях, которые проходят мимо нас, каждый своим путем. Куда идут они? Почему так спешат? Счастливы ли они?

Молодой человек мгновенно утратил игровой вид. Он ответил не сразу — трудно было понять, какая собственно роль ему предназначена.

— Да, очень интересно наблюдать за ними, — промямлил он, решив, наконец, что постиг строение своей собеседницы. — Чудесная загадка жизни. Одни идут ужинать, другие... гм... в другие места. Хотелось бы узнать, как они живут.

— Мне — нет, — сказала девушка. — Я не настолько любознательна. Я прихожу сюда по сидеть только за тем, чтобы хоть ненадолго стать ближе к великому, трепещущему сердцу человечества. Моя жизнь проходит так далеко от него, что я никогда не слышу его бинения. Скажите, догадываетесь ли вы, почему я так говорю с вами, мистер...

— Паркенстэкер, — подсказал молодой человек и взглянул вопросительно и с надеждой.

— Нет, — сказала девушка, подняв тонкий пальчик и слегка улыбувшись. — Она слишком хорошо известна. Нет никакой возможности помешать газетам печатать некоторые фамилии. И даже портреты. Эта вуалетка и шляпа моей горничной делают меня «никонито». Если бы вы знали, как смотрит на меня шофер всякий раз, как думает, что я не замечаю его взглядов. Скажу откровенно: существует всего пять или шесть фамилий, принадлежа-

ших к святым святым; и моя, по случайности рождения, входит в их число. Я говорю все это вам, мистер Стекенпот...

— Паркенстэкер, — скромно поправил молодой человек.

—...мистер Паркенстэкер, потому что мне хотелось хоть раз в жизни поговорить с естественным человеком — с человеком, не испорченным презренным блеском богатства и так называемым «высоким общественным положением». Ах, вы не поверите, как я устала от денег — вечно деньги, деньги! И от всех, кто окружает меня, — все пляшут, как марionетки, и все на один лад. Я просто больна от развлечений, бриллиантов, выездов, общества, от роскоши всякого рода.

— А я всегда был склонен думать, — осмелился нерешительно заметить молодой человек, — что деньги, должно быть, все-таки недурная вещь.

— Достаток в средствах, конечно, желателен. Но когда у вас столько миллионов, что... — она заключила фразу жестом отчаяния. — Однообразие, рутинна, — продолжала она, — вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, театры, балы, ужины — и на всем позолота бывшего через край богатства. Порою даже хруст льдинки в моем бокале с шампанским способен свести меня с ума.

Мистер Паркенстэкер, казалось, слушал ее с неподдельным интересом.

— Мне всегда нравилось, — проговорил он, — читать и слушать о жизни богачей и великосветского общества. Должно быть, я немножко сноб. Но я люблю обо всем иметь точные сведения. У меня составилось представление, что шампанское замораживают в бутылках, а не кладут лед прямо в бокалы.

Девушка рассмеялась мелодичным смехом — его замечание, видно, позабавило ее от души.

— Да будет вам известно, — объяснила она снисходительным тоном, — что мы, люди праздного сословия, часто развлекаемся именно тем, что нарушаем установленные традиции. Как раз последнее время модно класть лед в шампанское. Эта причуда вошла в обычай с обеда в Уолдорфе, который давал в честь приезда татарского князя. Но скоро эта прихоть сменилась другой. Неделию тому назад на званом обеде на Мэдсон-авеню возле каждого прибора была положена зеленая лайковая перчатка, которую полагалось надеть, кушая мясные.

— Да, — признался молодой человек смиренно, — все эти тонкости, все эти забавы интимных кругов высшего света остаются неизвестными широкой публике.

— Иногда, — продолжала девушка, принимая его признание в невежестве легким кивком головы, — иногда я думаю, что если бы я могла полюбить, то только человека из низшего класса. Какого-нибудь труженника, а не трутня. Но безусловно требования богатства и знатности окажутся сильнее моих склонностей. Сейчас, например, меня осаждают двое. Один

из них герцог немецкого княжества. Я подозреваю, что у него есть или была жена, которую он довел до сумасшествия своей необузданностью и жестокостью. Другой претендент — английский маркиз, такой чопорный и расчетливый, что я, пожалуй, предпочту свирепость герцога. Но что побуждает меня говорить все это вам, мистер Покенстэкер?

— Паркенстэкер, — едва слышно пролепетал молодой человек. — Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие.

Девушка окинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркивающим разницу их общественного положения.

— Какая у вас профессия, мистер Паркенстэкер? — спросила она.

— Очень скромная. Но я рассчитываю кое-чего добиться в жизни. Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?

— Да, конечно. Но я сказала: «могла бы». Не забудьте про герцога и маркиза. Да, ни одна профессия не показалась бы мне слишком низкой, лишь бы сам человек мне нравился.

— Я работаю, — объявил мистер Паркенстэкер, — в одном ресторане.

Девушка слегка вздрогнула.

— Но не в качестве официанта? — спросила она почти умоляюще. — Всякий труд благороден, но... личное обслуживание, вы понимаете, лакей...

— Нет, я не официант. Я кассир в... Напротив, на улице, идущей вдоль парка, сияли электрические буквы вывески «ресторан». — Я служу кассиром вон в том ресторане.

Девушка взглянула на крохотные часики на браслете тонкой работы и поспешно встала. Она сунула книгу в изящную сумочку, висевшую у пояса, в которой книга едва помещалась.

— Почему вы не на работе? — спросила девушка.

— Я сегодня в ночной смене, — сказал молодой человек. — В моем распоряжении еще целый час. Но ведь это не последняя наша встреча? Могу я надеяться?..

— Не знаю. Возможно. А впрочем, может, мой каприз больше не повторится. Я должна спешить. Меня ждет званый обед, а потом ложа в театре — опять, увы, все тот же неразрывный круг. Вы, вероятно, когда шли сюда, заметили автомобиль на углу возле парка? Весь белый.

— И с красивым колесами? — спросил молодой человек, задумчиво сдвинув брови.

— Да. Я всегда приезжаю сюда в этом авто. Пьер ждет меня у входа. Он уверен, что я провожу время в магазине на площади, по ту сторону парка. Представляет ли себе пути жизни, в которой мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов? До свидания.

— Но уже совсем стемнело, — сказал мистер Паркенстэкер, — а в парке столько всяких грубиянов. Разрешите мне проводить...

— Если вы хоть сколько-нибудь считаетесь с моими желаниями,— решительно ответила девушка,— вы останетесь на этой скамье еще десять минут после того, как я уйду. Я вовсе не ставлю вам это в вину, но вы, по всей вероятности, осведомлены о том, что обычно на автомобилях стоят монограммы их владельцев. Еще раз до свиданья.

Быстро и с достоинством удалилась она в темноту аллен. Молодой человек глядел вслед ее стройной фигуре, пока она не вышла из парка, направляясь к углу, где стояла автомобиль. Затем, не колеблясь, он стал предательски красться следом за ней, прячась за деревьями и кустами, все время идя параллельно пути, по которому шла девушка, ни на секунду не теряя ее из виду.

Дойдя до угла, девушка повернула в сторону белого автомобиля, мельком взглянула на него, прошла мимо и стала переходить улицу. Под прикрытием стоявшего возле парка кеба молодой человек следил взглядом за каждым ее движением. Ступив на противоположный тротуар, девушка толкнула дверь ресторана с сияющей вывеской. Ресторан был из числа тех, где все сверкает, все выкрашено в белую краску, всюду стекло и где можно пообедать дешево и шикарно. Девушка прошла через весь ресторан, скрылась куда-то в глубине его и тут же вынырнула вновь, но уже без шляпы и вуалетки.

Сразу за входной стеклянной дверью находилась касса. Рыжеволосая девушка, сидевшая за ней, решительно взглянула на часы и стала слезать с табурета. Девушка в сером платье заняла ее место.

Молодой человек сунил руки в карманы и медленно пошел назад. На углу он споткнулся о маленький томик в бумажной обертке, валявшийся на земле. По яркой обложке он узнал книгу, которую читала девушка. Он небрежно поднял ее и прочел заголовок: «Новые сказки Шехерезады»; имя автора было Стивенсон. Молодой человек уронил книгу в траву и с минуту стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушки, и сказал шоферу три слова:

— В клуб, Аири.

КВАДРАТУРА КРУГА

Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера.

Природа движется по кругу. Искусство — по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги; ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого.

Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности; прищуренные, суженные до прямой линии глаза кокетки свидетельствуют о влещении Искусства. Прямая линия рта говорит о хитрости и лукавстве; и кто же не читал самых вдохновенных лирических излияний Природы на губах, округлившись для невинного поцелуя?

Красота — это Природа, достигшая совершенства, округленность — это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в ссудную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету, которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует об отклонении от Природы. Сравните только пояс Венера с прямыми складочками английской блузки.

Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура терпит изменения. Таким образом, Природа, более гибкая, чем Искусство, приспособляется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление, например: голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка.

Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность законов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие, жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях,— все это бросает холодный вызов кривой линии Природы.

Поэтому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга. И можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной кентуккнской вендетте, которую судьба привела в город, имеющий обыкновенные обламывать и обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов.

Эта вендетта началась в Кэмберлендских горах между семействами Фолуэл и Гаркнесс. Первой жертвой кровной вражды пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренировкиная на опосума. Гаркнессы возместили эту тяжелую утрату, уколовшись главой рода Фолуэлов. Фолуэлы не задержались с ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнесса вслед за его собакой в ту страну, где опосум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтобы дерево срубили.

Вендетта процветала в течение сорока лет. Гаркнессов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дороге с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родословного древа Фолуэлов отсекались точно таким же образом, в полном согласии с традициями и обычаями их страны.

В конце концов, после такой усиленной стрижки родословного дерева, в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнесс, рассудив, вероятно, что продолжение фамильной распри приняло бы уже чересчур личный характер, неожиданно скрылся из Кэмберленда, игнорируя все права Сэма, последнего мстителя из рода Фолуэлов.

Через год после этого Сэм Фолуэл узнал, что его наследственный враг, здоровый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор, перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб со дна сажу, смешал ее со свиным салом и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм когда-то орехового цвета, а теперь перекрашенный в черный, белую рубашку и воротничок он уложил в коварный саквояж белья, достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальной и высоко нравственной ни считалась эта привычка в Кэмберленде, неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет отходить на белок среди небоскребов Бродвея. Старейший, но надежный колт, поконившийся много лет в ящике комода, оказался ему самым подходящим оружием для того, чтобы перенести вендетту в столичные сферы. Этот револьвер, вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах, Сэм уложил в коварный саквояж. И, проезжая верхом на муле мимо кедровой роши к станции железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучу белых сосновых надгробий — родовое кладбище Фолуэлов.

Сэм Фолуэл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кебмен выхватил Сэма из гущи пассажиров, как он сам, бывало, выхватывал орех из вороха опавших листьев, и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и коварному саквояжу.

На следующее утро последний из Фолуэлов сделал вылазку в город, где скрывался последний из Гаркнессов. Колт он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке; охотничий нож висел у него между лопаток, на подлойма от воротника. Ему было известно одно — что Кол Гаркнесс ездит с фургоном где-то в этом городе и что он, Сэм Фолуэл, должен его убить, — и как только он ступил на тротуар, глаза его налились кровью и сердце загорелось жаждою мести.

Шум и грохот центральных авеню завлекал его все дальше и дальше. Ему казалось, что вот-вот он встретит на улице Кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой и без пиджака, точь-в-точь как где-нибудь во Франкфурге или Лорел-Сити. Но прошел почти час, а Кол все еще не попадался ему навстречу. Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое

время Сэм зорко следил за всеми дверями и окнами.

К полудню городу надоело играть с ним, как кошка с мышью, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями.

Сэм Фолуэл стоял на месте скрещения двух больших прямых артерий города. Он посмотрел на все четыре стороны и увидел нашу планету, вырванную из своей орбиты и превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участки. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенное в систему, введенное в границы. Корнем жизни был кубический корень, мерой жизни была квадратная мера. Люди веренищей проходили мимо, ужасный шум и грохот оглушили его.

Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обратилось к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества.

Какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сэм незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум.

— У Ранкинсов свиньи весели куда больше наших, да ведь в ихних местах желудок совсем другие, много лучше, чем у нас...

Толстяк отодвинулся подальше и стал покусывать жареные каштаны, чтобы скрыть свой испуг.

Сэм почувствовал, что необходимо выпить. На той стороне улицы мужчины входили и выходили через вращающуюся дверь. Сквозь нее мелькала блестящая стойка, уставленная бутылками. Мститель перешел дорогу и попытался войти. И здесь опять Искусство преобразило знакомый круг представлений. Рука Сэма не находила дверной ручки — она тщетно скользила по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавоочную головку величнейшей, за который можно было бы ухватиться.

Смущенный, красный, растерянный, он отошел от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации тронула его в ребро.

— Проходи! — сказал полисмен. — Ты здесь давнисько окопавшись.

На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма. Он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-за дымящейся на жаровне горки земляных орехов. Он хотел перейти улицу. Какая-то громадная машина, без лошадей, с голосом быка и запахом коптящей лампы, промчалась мимо, ободрав ему колени. Кеб задел его ступней, а извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер, яростно извивавшая в звонке, впервые в жизни оказалась солдакери с извозчиком. Крупная дама в шелковой жакетке «шанжан» толкнула его локтем в спину, а мальчишка-газетчик, не торопясь, швырял в него банимовыми корками и пригова-

ривал: «И не хочется, да нельзя упускать такой случай!»

Кол Гаркнесс, кончив работу и поставив фургон под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы. В толпе спешащих прохожих, всего в трех шагах впереди себя, он увидел последнего кровного врага всех своих родных и близких.

Он остановился, как вкопанный, и в первое мгновение растерялся, застигнутый врасплох без оружия. Но Сэм Фолуэл уже заметил его своими зоркими глазами горца.

Последовал прыжок, поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул:

— Здорово, Кол! До чего же я рад тебя видеть!

И на углу Бродвея, Пятой авеню и Двадцать третьей улицы кровные враги из Кэмберленда пожали друг другу руки.

ПОГРЕБОК И РОЗА

Мисс Поззи Кэррингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Богс, в деревушке Кранбери Корнерс. В восемнадцать лет она приобрела фамилию Кэррингтон и положение хористки в столичном театре фарса. После этого она легко одолела положенные ступени от «фигурантки», участницы знаменитого октета «Пташка» в нахуемшей музыкальной комедии «Вздор и враль», к сольному номеру в танце букашек в «Фоль де Роль» и, наконец, к роли Тойнет в оперетке «Купальный халат короля» — роли, завоевавшей расположение критиков и создавшей ей успех. К моменту нашего рассказа мисс Кэррингтон купалась в славе, лести и шампанском, и дальновидный герр Тимоти Гольдштейн, антрепренер, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что мисс Поззи согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе Дайд Рича «При свете газа».

Незамедлительно к герру Тимоти явился молодой талантливый сын века, актер на характерные роли, мистер Хайсмис, рассчитывавший получить ангажемент на роль Соля Хэйтосера, главного мужского комического персонажа в пьесе «При свете газа».

— Милый мой, — сказал ему Гольдштейн, — берите роль, если только вам удастся ее получить. Мисс Кэррингтон меня все равно не послушает. Она уже отвергла с полдюжины лучших актеров на амбула «деревенских простаков». И говорит, что ноги ее не будет на сцене, пока не раздобудут настоящего Хэйтосера. Она, видите ли, выросла в провинции, и когда этакое оранжерейное растение с Бродвея, понатыкав в волосы соломинку, пытается изображать полевую травку, мисс Поззи просто из себя выходит. Я спросил ее, шутки ради, не подойдет ли для этой роли Ленман Томпсон. «Нет, — за-

явила она. — Не желаю ни его, ни Джона Дрю. ни Джима Корбета, — никого из этих шеголей, которые путают турнепс с турникетом. Мне чтобы было без подделок». Так вот, мой милый, хотите играть Соля Хэйтосера — сумеете убедить мисс Кэррингтон. Желаю удачи.

На следующий день Хайсмис уже ехал в Кранбери Корнерс. Он пробыл в этом глухом и скучном местечке три дня. Он разыскал Богсов и вызубрил назубок всю историю их рода до третьего и четвертого поколений включительно. Он тщательно изучил события и местный колорит Кранбери Корнерс. Деревня не поспевала за мисс Кэррингтон. На взгляд Хайсмиса, там, со времени отбытия единственной жрицы Терпсихоры, произошло так же мало существенных перемен, как бывает на сцене, когда предполагается, что «с тех пор прошло четыре года». Приняв, подобно хамелеону, окраску Кранбери Корнерс, Хайсмис вернулся в город хамелеоновских превращений.

Все произошло в маленьком погребке — именно здесь пришлось Хайсмису блеснуть своим актерским искусством. Нет необходимости уточнять место действия: существует только один погребок, где вы можете рассчитывать встретить мисс Поззи Кэррингтон по окончании спектакля «Купальный халат короля».

За одним из столкновений сидела небольшая оживленная компания, к которой тянулись взгляды всех присутствующих. Миннаторная, пикантная, задорная, очаровательная, упоенная славой, мисс Кэррингтон по праву должна быть названа первой. За ней герр Гольдштейн, громкоголосый, курчавый, неуклюжий, чуточку встревоженный, как медведь, каким-то чудом поймавший в лапы бабочку. Следующий — некий служитель прессы, грустный, вечно настроженный, расценивающий каждую обращенную к нему фразу как возможный материал для корреспонденции и поглощающий свои омары а ля Ньюбург в величественном молчании. И, наконец, молодой человек с пробором и с именем, которое сверкало золотом на оборотной стороне ресторанных счетов. Они сидели за столиком, а музыканты играли, лаiken сновали взад и вперед, выполняя свои сложные обязанности, неизменно обернувшись спиной ко всем нуждающимся в их услугах, и все это было очень мило и весело, потому что происходило на девять футов ниже тротуара.

В одиннадцать сорок пять в погребок вошло некое существо. Первая скрипка вместо ля взяла бемолю; кларнет пустил петуха в середине фиоритуры; мисс Кэррингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины.

Вид у вновь вошедшего был восхитительно и безупречно деревенский. Тощий, нескладный, неповоротливый пареня с лынными волосами, с разнущим ртом, неуклюжий, одуревший от обилия света и публики. На нем был костюм цвета орехового масла и ярко-голубой галстук, из рукавов на четыре дюйма торчали костлявые

руки, а из-под брюк на такую же длину высовывались лодыжки в белых носках. Он опрокинул стул, уселся на другой, закрутил винтом ногу вокруг ножки столика и заискивающе улыбнулся подошедшему к нему лакею.

— Мне бы стаканчик имбирного пива, — сказал он в ответ на вежливый вопрос официанта.

Взоры всего погребка устремились на пришельца. Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли. Вытащив глаза, он сразу же принялся блуждать взглядом по сторонам, словно высматривая, не забрели ли свиньи на грядки с картофелем. Наконец, его взгляд остановился на мисс Кэрингтон. Он встал и пошел к ее столу с широкой сияющей улыбкой, краснея от приятного смущения.

— Как поживаете, мисс Позн? — спросил он с акцентом, не оставляющим сомнения в его происхождении. — Или вы не узнаете меня? Я ведь Билл Самерс — помните Самерсов, которые жили как раз за кузницей? Ну ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Кранберн Корнер. А знаете, Лиза Перри так и полагала, что я, очень даже возможно, могу встретиться с вами в городе. Лиза ведь, знаете, вышла замуж за Бэна Стаффилда, и она говорит...

— Да что вы? — перебила его мисс Позн с живостью. — Чтобы Лиза Перри вышла замуж? С ее-то весишками?!

— Вышла замуж в июне, — ухмылянулся сплетник. — Теперь она переехала в старый Татам-Плейс. А Хэм Райли, тот стал святошей. Старая мисс Близерс продала свой домишко капитану Спунеру; у Уотерсов младшая дочка сбежала с учителем музыки; в марте сгорело здание суда; вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем; Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. А Том Билл приударяет за Салли Лазроп — говорят, ни одного вечера не пропускает, все торчит у них на крыльчке.

— За этой лупоглазой? — воскликнула мисс Кэрингтон несколько резко. — Но ведь Том Билл когда-то... Простите, друзья, я сейчас Знакомьтесь. Это мой старый приятель, мистер... как вас? Да, мистер Самерс. Мистер Гольдштейн, мистер Рикетс, мистер... о, а как же ваша фамилия? Ну, все равно: Джонни. А теперь пойте мне вон туда, расскажите мне еще что-нибудь.

Она повлекла его за собой к пустому столу, стоявшему в углу. Герр Гольдштейн пожал жирными плечами и поздравил официанта. Репортер селгка оживился и заказал абсент. Юноша с пробором погрузился в меланхолию. Посетители погребка смеялись, зевали стаканами и наслаждались спектаклем, который Позн давала им сверх своей обычной программы. Некоторые скептики перешептывались насчет «рекламы» и улыбались с понимающим видом.

Позн Кэрингтон оперлась на руки своим очаровательным подбородком с ямочкой и забы-

ла про публику — способность, принесшая ей лавры.

— Я что-то не припомню никакого Билла Самерса, — сказала она задумчиво, глядя прямо в невинные голубые глаза сельского жителя. — Но вообще-то Самерсов я помню. У нас там, наверное, не много произошло перемен. Вы моих давно видали?

И тут Хайсмис пустил в ход свой козырь. Роль Соля Хэйтосера требовала не только юмизма, но и пафоса. Пусть мисс Кэрингтон убедится, что и с этим он справляется не хуже.

— Мисс Позн, — начал «Билл Самерс». — Я заходил в ваш родительский дом всего три года назад. Да, правду сказать, особо больших перемены там нет. Вот сиреневый куст под окном кухни вырос на целый фут, а вяз во дворе засох, пришлось его срубить. И все-таки все словно бы не то, что было раньше.

— Как мама? — спросила мисс Кэрингтон.

— Когда я в последний раз видел ее, она сидела на крыльчке, вязала дорожку на стол, — сказал «Билл». — Она постарела, мисс Позн. Но в доме все по-прежнему. Ваша матушка предложила мне присест. «Только, Уильям, не троньте ту плетеную качалку», — сказала она. — Ее не касались с тех пор, как уехала Позн. И этот фартук, который она начала подрубать, — он тоже так вот и лежит с того дня, как она сама бросила его на ручку качалки. Я все надеюсь, — говорит она, — что когда-нибудь Позн еще дойдет этот рубец».

Мисс Кэрингтон властным жестом позвала лакея.

— Шампанского — пинту, сухого, — приказала она коротко. — Счет Гольдштейну.

— Солнце светило прямо на крыльцо, — продолжал кранберийский летописец, — и ваша матушка сидела как раз против света. Я, значит, и говорю, что, может, ей лучше пересест иемиожко к стороне. «Нет, Уильям», — говорит она, — стоит мне только сесть вот так да начать поглядывать на дорогу, и я уж не могу сдвинуться с места. Всякий день, как только выберется свободная минутка, я гляжу через изгородь, высматриваю, не идет ли моя Позн. Она ушла от нас ночью, а наутро мы видели в пыли на дороге следы ее маленьких башмачков. И до сих пор я все думаю, что когда-нибудь она вернется назад по этой же самой дороге, когда устанет от шумной жизни и вспомнит о своей старой матери».

— Когда я уходил, — закончил «Билл», — я сорвал вот это с куста перед вашим домом. Мне подумалось, может, я и впрямь увижу вас в городе, и, и вам приятно будет получить что-нибудь из родного дома.

Он вытащил из кармана пиджака розу — блекнущую, желтую, бархатистую розу, поникшую головкой в душную атмосферу этого вульгарного погребка, как девственница на римской арене перед горячим дыханием львов.

Громкий, но мелодичный смех мисс Позн заглушил звуки оркестра, исполнявшего «Колокольчики».

— Ах, бог-ты мой, — воскликнула она весело. — Ну есть ли что на свете скучнее нашего Кранбери? Право, теперь бы, кажется, я не могла бы пробыть там и двух часов — просто умерла бы со скуки. Ну, я очень рада, мистер Самерс, что повидалась с вами. А теперь, пожалуй, мне пора отправляться домой да хорошенько выспаться.

Она приколотла желтую розу к своему чудесному элегантному шелковому платью, встала и повелительно кивнула в сторону герра Гольдштейна.

Все трое ее спутников и «Билл Самерс» проводили мисс Поззи к поджидавшему ее кебу. Когда все ее обorks и ленты были благополучно размешены, мисс Кэрингтон на прощание одарила всех ослепительным блеском зубов и глаз.

— Зайдите, навестить меня, Билл, прежде чем поедете домой, — крикнула она, и блестящий экипаж тронулся.

Хайсмис, как был, в своем маскарадном костюме, отправился с герром Гольдштейном в маленькое кафе.

— Ну, каково, а? — спросил актер, улыбаясь. — Придется ей дать мне Соля Хэйтосера, как по-вашему? Прелестная мисс ни на секунду не усомнилась.

— Я не слышал, о чем вы там разговаривали, — сказал Гольдштейн, — но костюм ваш и манеры — о'кей. Пью за ваш успех. Советую завтра же, с утра, заглянуть к мисс Кэрингтон и атаковать ее насчет роли. Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям.

В одиннадцать сорок пять утра на следующий день Хайсмис, элегантно, одетый по последней моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Кэрингтон в ее роскошные апартаменты в отеле.

К нему вышла горничная актрисы, французка.

— Мне очень жаль, — сказала мадемуазель Гортенз, — но мне поручено передать это всем. Ах, как жаль! Мисс Кэрингтон разорвала все контракт с театром и уехала жить в этот, как это? Да, в Кранбери Корнэр.

ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ

— Трест имеет свое слабое место, — сказал Джефф Питерс.

— Это напоминает мне, — сказал я, — бессмысленные изречения вроде: «Почему существует на свете полисмен?»

— Ну нет, — сказал Джефф. — Между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма... осы... или, так сказать, квинтэссенция. А значит она, что трест и похож и не похож на яйцо. Когда хочешь расколоть яйцо, бьешь его снаружи. А трест можно разбить лишь изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Погля-

дите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр, каждый трест носит в своей груди семена собственной гнбелы, как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от сборища негров-методистов, или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса.

Я шутя спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой, полосатой, клетчатой и крапелной карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование «треста». К моему удивлению, он признал за собой этот грех.

— Один-единственный раз, — сказал он. — И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документа, который давал бы право на более солидный и верный образец законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам — вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно нужных потребителям. Ни один враг монополий и трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосиновой лавчонкой. И все-таки мы прогорели.

— Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия? — спросил я.

— Нет, сэр, все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации. Люлька оказалась с трещинкой, как выразился Альфред Теннисон.

Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Таккером. Этот Энди был гениальным мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему, насчет идей и всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого бы он не испыовал, начиная с лекций о Палестине, которые он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закрывающих готового платья в Атлантик-Сити, и кончая ввозом в Коннектикут целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов.

Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам две тысячи пятьсот долларов за половину паев серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал. Все было в порядке. Другая половина паев стоила двести или триста тысяч долларов. Я часто думал потом: кому принадлежал этот рудник?

Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Эндом споткнулись об один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался горо-

дишко Птичий Город, но жили там вовсе не птицы. Там было две тысячи душ населения, все больше мужчин. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли чапарраля, окружавшие город. Иные из жителей были скотопромышленники, иные — картежники, иные — лошадиные барышники, иные — в таких было много — работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорили, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные.

Надо сказать, что хотя мы с Энди в непогоду, но в городе было три кабака, и все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами.

На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться прегрзистой природой. Птичий Город был построен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта и совсем сползала в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека нйкогда не дремал. Не сходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею.

Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам тысячу двести долларов. А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так, между делом, купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста.

Проснувшись на следующее утро, Птичий Город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло; весь город был окружен ревущими потоками воды. Дождь лил не переставая; на северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие две недели еще штурм шесть средних годовых осадков. Но главная беда была впереди.

Птичий Город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт, другой пункт спасения утопающих — тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды, и жители скопом несутся в «Голубую змею». И что же они видят в «Голубой змее»?

За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс, этаким восьминогий спрут-эксплуатор, справа у него колыт и слева у него колыт, и он готов дать сдачи либо долларами, либо пулей. В заведении — три бармена, а на стене вывеска в десять футов длины: «Каждая выпивка — доллар». Энди сидит на несгораемой кассе, на нем шикарный синий костюм, в

зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник полиции с двумя полисменами: трест обещал им бесплатную выпивку.

Да, сэр, не прошло и десяти минут, как Птичий Город понял, что дверца клетки захлопнулась. Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за тридцать миль, и можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через две недели, а до той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попури на килофоне.

В Птичем Городе было около полутора тысяч взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста; чтобы умереть от тоски, большинству из них требовалось от трех до двадцати стаканов в день. Пока не схлынет вода, «Голубая змея» оставалась единственным местом, где они могли получить их. Это было и красиво и просто, как всякое подлинно великое жульничество.

К десяти часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать тустепы и марши. Но я глянул в окно и увидел, что сотни две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной и ссудной кассой, и понял, что они хлопочут о новых долларах, которые высосет у них наш восьминогий своими мокрыми и скользкими шупальцами.

В полдень все ушли по домам обедать, как и подобает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закупить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали тысячу триста долларов. По нашему подсчету выходило, что, если Птичий Город останется островом еще две недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет.

Энди — того так и распирало от гордости, потому что ведь план первоначально зародился в его предположениях. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салуне.

— Джефф, — говорит он, — я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуаторов, столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом «Питерс, Таккер и Сатана».

Мы нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного переплетения. Что, не так?

— Верно, — говорю я, — выходит, что ничего нам не останется, как заняться гастритом и гольфом или заказать себе шотландские

юбочки и ехать охотиться на лисц. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе, — говорю я, — ибо худой жир лучше доброй чахотки.

Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал.

— Вроде как излияние богам, — пояснял он.

Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик — за преуспевание нашего дела. А потом и пошло — он пил за всю промышленность, начиная от Северной тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдиката учебников и федерации шотландских горняков.

— Энди, Энди, — говорю я ему, — это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий, но смотри, дружок, не увлекайся тостами. Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сахариками.

Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное, этаким, я бы сказал, благородный и праведный визов. Очень не понравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством: какую штуку выкинет с ним виски? В жизни бывают два случая, которые неизвестно чем кончаются: когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний.

За какой-нибудь час «муха» у Энди выросла в целого скорпиона. Снаружи он был вполне благопристойен и умудрялся сохранять равновесие, но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами.

— Джефф, — говорит он, — ты знаешь, что я такое? Я кратер, живой вулканический кратер.

— Эта гипотеза, — говорю я, — не нуждается ни в каких доказательствах.

— Да, я огнедышащий кратер. Из меня так и пышет пламя, а внутри хлопочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь этакую речь. Когда я выпью, — говорит Энди, — меня всегда влечет к ораторскому искусству.

— Нет ничего хуже, — говорю я.

— С самого раннего детства, — продолжает Энди, — алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации. Да что, во время второй избирательной кампании Брайана мне давали по три порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на два часа дольше самого Билли. Но в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше.

— Если тебе уж так приспичило освободиться от лишнего слов, — говорю я, — ступай

к реке и поговори, сколько нужно. Поминист, уже был один такой старый болтун, — звали его Кантарид, — который ходил на берег моря и там обглатывал свою глотку.

— Нет, — говорит Энди, — мне нужна аудитория, публика. Я чувствую, что дай мне сейчас волю! — и сенатора Бэвриджа прозвучит Юным Сфинксом Уобаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд, иначе он пойдет внутрь и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Саутворт в роскошном переплете с золотым обрезом.

— А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки? — спрашиваю я. — Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы и тезисы?

— Тема любая, — говорит Энди, — для меня безразлично. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу поговорить о русской иммиграции, или о позиции Китса, или о новом тарифе, или о кабилской словесности, или о водосточных трубах, и будь уверен: мои слушатели будут попеременно то плакать, то хныкать, то рыдать, то обливаться слезами.

— Ну что ж, Энди, — говорю я ему, — если уж тебе совсем нетерпел, иди вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подороже и повыносливее. Мы с нашими подручными и без тебя тут управимся. В городе скоро кончат обеды, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще полторы тысячи долларов.

И вот Энди выходит из «Голубой змеи», и я вижу, как он останавливается на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и десяти минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу, говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. Потом, он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит. И он повел их по главной улице-Птичьего Города, и по дороге к ним приставали еще и еще прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе.

Прошло час, потом два, потом три, а ни одна птица так и не залетела к нам выпить. На улицах было пусто, одни утки, да изредка женщина пройдет мимо в лавчонку. А между тем дождик почти перестал.

Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы соскребсти грязь, налипшую на сапоги.

— Милый, — говорю я ему, — что случилось? Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица.

— Весь город, — отвечает он, — собрался у Сперри, на складах шерсти, и слушает речь

вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет-таки извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй.

— Вот оно что,— говорю я.— Ну, надеюсь, что он сделает перерыв, *sine qua non*¹, очень скоро, потому что от этого страдает торговля.

До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привезли Энди в салон: он возлежал на спине на осле. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами.

Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказывал мне всю историю. Оказывается, Энди говорил два часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но на всем земном шаре.

— О чем же он говорил? — спросил я.

— О вреде пьянства,— ответил тот.— И когда он кончил, все жители Птичьего Города подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.

СУПРУЖЕСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА

— Вы уже слышали от меня,— сказал Джефф Питерс,— что женское коварство никогда не внушало мне слишком большого доверия. Даже в самом невинном жульничестве невозможно полагаться на женщин как на соучастников и компаньонов.

— Комплимент заслуженный,— сказал я.— По-моему, у них есть все права называться честнейшим полом.

— А чего им и не быть честными,— сказал Джефф,— на то и мужчины, чтобы жульничать для них либо работать на них сверхурочно. Лишь до тех пор они годятся для бизнеса, пока у них чувства и волосы у них еще не слишком далеки от натуральных. А потом подавай им дублера — тяжеловоза мужчину с одышкой и рыжими баками, с пятью ребятами и заложенным и перезаложенным домом. Взять, к примеру, хоть эту вдову, которую мы с Энди Таккером попросили оказать нам содействие, чтобы провести небольшую матримонильную затею в городишке Каире.

Когда у вас достаточно денег на рекламу — скажем, пачка толщиной с тонкий конец фургонного дышла,— открывайте брачную контору. У нас было около шести тысяч долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в два месяца,— дольше такими делами заниматься нельзя, не имея на то официально-го разрешения от штата Нью-Джерси.

Мы составили объявление такого примерно сорта:

«Симпатичная вдова, прекрасной наружности, тридцати двух лет, с капиталом в три тысячи долларов, обладающая обширным помещением, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь не богатого, но нежного сердцем, так как, по ее убеждению, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого или некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом.

Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Таккера, Канр, штат Иллинойс на имя

Одинокой».

— До сих пор все идет хорошо,— сказал я, когда мы состряпали это литературное произведение.— А теперь — где мы возьмем эту женщину?

Энди смотрит на меня с холодным раздражением.

— Джефф,— говорит он,— я и не знал, что ты такой реалист в искусстве. Ну на что тебе женщина? При чем здесь женщина? Когда ты продаешь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопчешь о том, чтобы с них и вправду капала вода? Что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной?

— Слушай,— говорю я,— и запомни раз навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо, чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Только таким способом, а также путем тщательного изучения городского устава и расписания поездов мне удавалось избегать столкновения с полицией, даже когда бумажки в пять долларов и сигары оказывались недостаточно. Так вот, чтобы не провалить нашу затею, мы должны обзавестись симпатичной вдовой — или другим эквивалентным товаром для предъявления клиентам — красивой или безобразной, с наличием или без наличия статей, перечисленных в нашем каталоге. Иначе — камера мирового судьи.

Энди задумывается и отменяет свое первоначальное мнение.

— Ладно,— говорит он,— может быть, и в самом деле тут необходима вдова, на случай, если почтовое или судебное ведомство случайно сделает ревизию нашей конторы. Но где же мы найдем такую вдову, что согласится тратить время на брачные шашни, которые заведомо не кончатся браком?

Я ответил ему, что у меня есть на примете именно такая вдова. Старый мой приятель Зики Троттер, который торговал содовой водой и дергал зубы в палатке на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову, хлебнув какого-то снадобоя от несварения желудка вместо того зелья, которым он имел обыкновенные наклонности. Я часто бывал у них в доме, и мне казалось, что нам удастся завербовать эту женщину.

До городишка, где она жила, было всего

¹ Без которого невозможно (лат.).

шестьдесят миль, и я сейчас же покатил туда поездом и нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. Миссис Троттер вполне подходила под наше объявление, если, конечно, не считать пустяков: она была значительно старше, причем не имела ни денег, ни красивой наружности. Но ее можно было легко обработать, вид у нее был не противный, и я был рад, что могу почтить память покойного друга, дав его вдове приличный заработок.

— Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс?— спросила она, когда я рассказал ей мои планы.

— Миссис Троттер!— воскликнул я.— Мы с Энди Таккером высчитали, что по крайней мере три тысячи мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней и ваши несуществующие деньги и воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше трех тысяч таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые, жадные руки,— презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польствовавшие на ваше богатство.

— Мы с Энди,— говорю я,— намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. С большим трудом,— говорю я,— мы с Энди отказались от мысли основать корпорацию под названием Великое Моральное и Милосердное Матримониальное Агентство. Ну, теперь вы видите, какая у нас высокая и благородная цель?

— Да, да,— отвечает она,— мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих трех тысяч мерзавцев в отдельности или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом — десятками, дюжинами?

— Ваша должность, миссис Троттер,— говорю я,— будет простой синекурой. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя. Но, конечно,— говорю я,— может случиться, что какой-нибудь пылкий вздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, придет в Каир, чтобы лично завоевать ваше сердце... В таком случае вам придется потрудиться самой: собственноручно указать ему на дверь. Платить мы вам будем двадцать пять долларов в неделю, и оплата гостиницы за наш счет.

Услышав это, миссис Троттер сказала:

— Через пять минут я готова. Я только возьму пудреницу и оставлю у соседки ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе: жалование должно мне идти с этой минуты.

И вот я везу миссис Троттер в Каир. Привез, поместил ее в тихом семейном отеле, подальше

от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Потом пошел и рассказал обо всем Энди Таккеру.

— Отлично,— говорит Энди Таккер.— Теперь, когда твоя совесть спокойна, когда у тебя есть и крючок и приманка, давай-ка примемся за рыбную ловлю.

Мы пустили наше объявление по всей этой местности. Одного объявления вполне хватало. Сделай мы рекламу пошире, нам пришлось бы нанять столько клерков и девиц с завиткой перманент, что хруст жевательной резинки дошел бы до самого директора почт и телеграфов. Мы положили на имя миссис Троттер две тысячи долларов в банк и чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать ее сомневающимся. Я знал, что она женщина честная, и не боялся доверить ей деньги.

Одно это объявление доставило нам уйма работы, по двенадцать часов в сутки мы отвечали на полученные письма.

Поступало их штук сто в день.

Я не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя забот о ее капитале.

Большинство из них сообщало, что они сидят без гроша, не имеют определенных занятий и что их никто не понимает, и все же, по их словам, у них остались такие большие запасы любви и прочих мужских достоинств, что вдовушка будет счастливейшей женщиной, черпая из этих запасов.

Каждый клиент получал ответ от конторы Питерса и Таккера. Каждому сообщали, что его искреннее, интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Таккер присовокупляли к сему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме два доллара, каковые деньги и следует приложить к письму.

Теперь вы видите, как прост и красив был наш план. Около девяноста процентов этих благороднейших искателей вдовой руки раздобыли каким-то манером по два доллара и прислали их нам. Вот и все. Никаких хлопот. Конечно, нам пришлось поработать; мы с Энди даже поворочали немного: легко ли целый день вскрывать конверты и вынимать оттуда доллар за долларом!

Были и такие клиенты, которые являлись лично. Их мы направляли к миссис Троттер, и она разговаривала с ними сама; только трое или четверо вернулись к конторе, чтобы попросить у нас денег на обратный путь. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Энди стали вынимать из конвертов по двести долларов в день.

Как-то после обеда, когда наша работа была в полном разгаре и я складывал деньги в сигарные ящики: в один ящик по два доллара, в другой — по одному, а Энди насвистывал: «Не для нее венчальный звон»,— входит к нам

вдруг какой-то маленький шустрый субъект и так шарит глазами по стенам, будто он напал на след пропавшей из музея картины Гейнсборо. Чуть я увидел его, я почувствовал гордость, потому что наше дело правильное и придрататься к нему невозможно.

— У вас сегодня что-то очень много писем,— говорит человек.

— Идем,— говорю я и беру шляпу.— Мы вас уже давно поджидаем. Я покажу вам наш товар. В добром ли здоровье был Тедди, когда вы уезжали из Вашингтона?

Я повел его в гостиницу «Ривервью» и познакомил с миссис Троттер. Потом показал ему банковую книжку, где значились две тысячи долларов, положенных на ее имя.

— Как будто все в порядке,— говорит шкип.

— Да,— говорю я,— и если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамочкой. С вас мы не потребуем двух долларов.

— Спасибо,— отвечал он.— Если бы я был холостой, я бы, пожалуй... Счастливо оставаться, мистер Питерс.

К концу трех месяцев у нас набралось что-то около пяти тысяч долларов, и мы решили, что пора остановиться: отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала,— ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось.

И вот, когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалование за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на две тысячи долларов, которую мы дали ей на временное хранение.

Вхожу к ней в номер. Вижу: она сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу.

— Ну, ну,— говорю я,— о чем вы плачете? Кто-нибудь обидел вас или вы соскучились по дому?

— Нет, мистер Питерс,— отвечает она.— Я скажу вам всю правду. Вы всегда были другом Зики, и я не скрою от вас ничего. Мистер Питерс, я влюблена. Я влюблена. Я влюблена в одного человека, влюблена так сильно, что не могу жить без него. В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла всю жизнь.

— Так в чем же дело?— говорю я.— Берите его себе на здоровье. Конечно, если ваша любовь взаимная. Испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему?

— Да,— отвечает она.— Он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему объявлению, и потому он не хочет жениться, если я не дам ему двух тысяч. Его имя Уильям Уилкинсон.

Тут она снова в истерику.

— Миссис Троттер,— говорю я ей,— нет человека, который более меня уважал бы сердечные чувства женщины. Кроме того, вы были когда-то спутницей жизни одного из моих луч-

ших друзей. Если бы это зависело только от меня, я сказал бы: берите себе эти две тысячи и будьте счастливы с избранником вашего сердца. Мы легко можем отдать вам эти деньги, так как из ваших поклонников мы выкачали больше пяти тысяч. Но,— прибавил я,— я должен посоветоваться с Энди Таккером. Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас.

Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.

— Так я и знал,— говорит Энди.— Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны.

— Но, Энди,— говорю я,— горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито.

— О, конечно,— говорит Энди.— И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать. У тебя всегда был мягкий и нежный характер, я же прозрачен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей: пусть возьмет из банка эти две тысячи долларов, даст их своему избраннику и будет счастлива.

Я вскакиваю и целых пять минут пожимаю Энди руку, а потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно, как только что плакала от горя.

А через два дня мы упаковали свои вещи и приготовились к отъезду из города.

— Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер?— спрашиваю я у него.— Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность.

— Боюсь, что это невозможно,— отвечает Энди.— Как бы нам на поезд не опоздать.

Я в это время как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак,— мы всегда перевозили деньги таким способом, как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот и просит приобрести их к остальным капиталам.

— Что это такое?— спрашиваю я.

— Это две тысячи от миссис Троттер.

— Как же они попали к тебе?

— Сама мне дала,— отвечает Энди.— Я целый месяц бывал у нее вечерами... по три раза в неделю...

— Так ты и есть Уильям Уилкинсон?— спрашиваю я.

— Был до вчерашнего дня,— отвечает Энди.

ВОЛШЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ

Калифов женского пола немного. По праву рождения, по склонности, инстинкту и устройству своих голосовых связок все женщины —

Шехерезады. Каждый день сотни тысяч Шехерезад рассказывают тысячу и одну сказку своим султанам. Но тем из них, которые не остерегутся, достается в конце концов шелковый шнурок.

Мне, однако, довелось услышать сказку об одной такой султанше. Сказка эта не вполне арабская, потому что в нее введена Золушка, которая орудовала кухонным полотенцем совсем в другую эпоху и в другой стране. Итак, если вы не против смещения времен и стран, то мы приступим к делу.

В Нью-Йорке есть одна старая-престарая гостиница. Гравюры с нее вы видели в журналах. Ее построили — позовольте-ка — еще в то время, когда к северу от Четырнадцатой улицы не было ровно ничего, кроме индейской тропы на Бостои да конторы Гаммерштейна. Скоро старую гостиницу снесут. И в то время, когда начнут ломать массивные стены и с грохотом посыплются кирпичи по желобам, на соседних углах соберутся толпы жителей, оплакивая разрушение дорогого им памятника старины. Гражданские чувства сильны в Новом Багдаде; а पुше всех будет лить слезы и громче всех будет поносить икоборцев тот гражданин (родом из Терри-Хот), который умилению хранит единственное воспоминание о гостинице — как в 1873 году его там вытолкали в шею, с трудом оторвав от стойки с бесплатной закуской.

В этом отеле всегда останавливалась миссис Мэгги Браун. Миссис Браун была костлявая женщина лет шестидесяти, в порывах жеманства в шелковой или сатеновой юбке и с сумочкой из кожи того допотопного животного, которое Адам решил назвать аллигатором. Она всегда занимала в гостинице маленькую приемную и спалила на самом верху, ценою два доллара в день. И все время, пока она жила там, к ней толпами бегали просители, остроносые, с тревожным взглядом, вечно куда-то спешившие. Ибо Мэгги Браун занимала третье место среди капиталисток всего мира, а эти беспокойные господа были всего-навсего городские маклеры и дельцы, стремившиеся сделать небольшой заем миллионеров — в десять у старухи с доисторической сумочкой.

Стенографисткой и машинисткой в отеле «Акрополь» (ну вот я и проговорился!) была мисс Ида Бэйтс. Она казалась сплелом с античных образов. Ее красота была совершенна. Кто-то из галантных стариков, желая выразить свое уважение даме, сказал так: «Любовь к ней равнялась гуманитарному образованию». Так вот, один только взгляд на прическу и аккуратную белую блузку мисс Бэйтс равнялся полному курсу заочного обучения по любому предмету. Иногда она кое-что переписывала для меня, и поскольку она отказывалась брать деньги вперед, то привыкла считать меня чем-то вроде друга и протеже. Она была неизменно ласкова и добродушна, и даже комки по сбуту свиновых белил или торговец мехами не посмел бы в ее присутствии выйти из границ благопристойности. Весь штат «Акрополя» мно-

вено встал бы на ее защиту, начиная с хозяина, жившего в Веие, и кончая старшим портье, вот уже шестнадцать лет прикованным к постели.

Как-то днем, проходя мимо машинописного святыхища мисс Бэйтс, я увидел на ее месте черноволосое существо — без сомнения, одушевленное, — стукавшее указательными пальцами по клавишам. Размышляя о превратности всего земного, я прошел мимо. На следующий день я уехал отдыхать и пробыл в отъезде две недели. По возвращении я заглянул в вестибюль «Акрополя» и не без сердечного трепета увидел, что мисс Бэйтс, по-прежнему классически безупречная и благожелательная, накрывает чехлом свою машинку. Рабочий день кончился, но она пригласила меня присесть на минутку на стул для клиентов. Мисс Бэйтс объяснила свое отсутствие, а также и возвращение в отель «Акрополь» следующим или приблизительно таким образом:

— Ну, дорогой мой, каково пишется?

— Ничего себе, — ответил я. — Почти так же, как печатается.

— Сочувствую вам, — сказала она. — Хорошая машинка — это для рассказа самое главное. Вы меня вспоминали, ведь верно?

— Я не знаю никого, — ответил я, — кто умел бы лучше вас поставить на место запятые и постоянные в гостинице. Но вы ведь тоже уезжали. Я видел за вашим ремингтоном какую-то пачку жевательной резинки.

— Я собиралась вам про это рассказать, да вы меня прервали, — сказала мисс Бэйтс. — Вы, конечно, слышали про Мэгги Браун, которая здесь останавливается. Так вот, она стоит сорок миллионов долларов. Живет она в Джерси в десятидолларовой квартирке. У нее всегда больше наличных, чем у десяти кандидатов в вице-президенты. Не знаю, где она держит деньги, может быть, в чулке, знаю только, что она очень популярна в той части города, где поклоняются золотому тельцу.

Так вот, недели две тому назад миссис Браун останавливается в дверях и глазеет на меня минут десять. Я сажу к ней боком и переписываю под копиру prospect медных разработок для одного симпатичного старичка из Тонопы. Но я всегда вижу, что делается кругом. Когда у меня срочная работа, мне все видно сквозь боковые гребенки, а не то я оставляю незастегнутой одну пуговицу на спине и тогда вижу, кто стоит сзади. Я даже не оглянулась, потому что зарабатываю долларов восемнадцать — девятнадцать в неделю и ничего другого мне не нужно.

В тот вечер она к концу работы присылает за мной и просит зайти к ней в номер. Я было думала, что придется перепечатывать страниц двадцать долговых расписок, залоговых квитанций и договоров и получить центов десять чаевых, но все-таки пошла. Ну, дорогой мой, и удивилась же я. Мэгги Браун вдруг заговорила по-человечески.

— Детка, — говорит она, — красивее вас я никого за всю свою жизнь не видала. Я хочу,

чтобы вы бросили работу и перешли жить ко мне. У меня нет никого на свете, говорят, кроме мужа да одного-двух сыновей, и я ни с кем из них не поддерживаю отношений. Они своим трагизмом только обременяют трудящуюся женщину. Я хочу взять вас в дочки. Говорят, будто бы я скупая и корыстная, а в газетках печатают враги, будто бы я сама из себя готовлю и стираю. Это вранье,— продолжает она.— Я всю стирку отдаю на сторону, кроме разве иловых платков, чулок да нижних юбок и воротничков и разной мелочи в этом роде. У меня сорок миллионов долларов наличными деньгами, в бумагах и облигациях, таких же верных, как привилегированные «Стандард-Ойл» и церковный ярмарке. Я одинокая старая женщина и нуждаюсь в близком человеке. Вы самое красивое создание, какое я в жизни видела,— говорит она.— Хотите вы перебраться ко мне? Вот увидят тогда, умею я тратить деньги или нет,— говорит она.

Ну, милый мой, что же мне было делать? Конечно, я не устояла. Да и сказать вам по правде, я тоже начала привязываться к миссис Браун. Вовсе не из-за сорока миллионов и не ради того, что она могла для меня сделать. Я ведь тоже была совсем одна на свете. Всякому хочется иметь кого-нибудь, кому можно было бы рассказать про боли в левом плече и про то, как быстро изнашиваются лакированные туфли, когда на них появятся трещинки. А ведь не станешь про это говорить с мужчинами, которых встречаешь в гостиницах,— они только того и дожидаются.

И вот я бросила работу в гостинице и переехала к миссис Браун. Не знаю уж, чем я ей так понравилась. Она глядела на меня по полчаса, когда я сидела и читала что-нибудь или просматривала журналы.

Как-то я говорю ей:

— Можете, я вам напоминаю покойную родственницу или подругу детства, миссис Браун? Я заметила, что иногда вы так и едите меня глазами.

— Лицо у вас,— говорят она,— точь-в-точь такое, как у моего дорогого друга, лучшего друга, какой у меня был. Но я вас люблю и ради вас сама, деточка,— говорит она.

И как вы думаете, мой милый, что она сделала? Расшиблась в прах, как волна на пляже Коин-Айленда. Она отвезла меня к модной портнихе и велела одеть меня с ног до головы *a la carte* — за деньгами дело не станет. Заказ был срочный, и мадам заперла парадную дверь и усадила весь свой штат за работу.

Потом мы переехали — куда бы вы думали? Нет, отгадайте. Вот это верно — в отель «Бонтон». Мы заняли номер в шесть комнат, и это стоило нам сто долларов в день. Я сама видела счет. Тут я и начала привязываться к старушке.

А потом, когда мне стали привозить платье за платьем — о! — вам я про них рассказывать не стану, вы все равно ничего не поймете. А я начала звать ее тетей Мэгги. Вы, конечно, читали про Золушку. Так вот, радость Золушки в ту

минуту, когда принц надевал ей на ногу туфельку тридцать первый номер, даже и сравниться не может с тем, что я тогда чувствовала. Передо мной она была просто неудачница.

Потом тетя Мэгги сказала, что хочет заказать для моего первого выезда банкет в отеле «Бонтон» — такой, чтобы съехались все старые голландские фамилии с Пятой авеню.

— Я ведь выезжала и раньше, тетя Мэгги,— говорю я.— Но можно начать снова. Только, знаете ли, говорю, ведь это самый шикарный отель в городе. И знаете ли, вы уж меня извините, но очень трудно собрать всю эту аристократию вместе, если вы раньше не пробовали.

— Не беспокойтесь, деточка,— говорит тетя Мэгги.— Я не рассылаю приглашений, а отдаю приказ. У меня будет пятьдесят человек гостей, которых не заманишь вместе ни на какой прием, разве только к королю Эдуарду или к Уильяму Треверсу Джерому. Это, конечно, мужчины, и все они мне должны или собираются заниматься. Женщины придут не все, но очень многие явятся.

Да, хотелось бы мне, чтоб и вы присутствовали на этом банкете. Обеденный сервис был весь из золота и хрусталя. Собралось человек сорок мужчин и восемь дам, кроме нас с тетей Мэгги. Вы бы не узнали третий капиталистический мир. На ней было новое черное шелковое платье с таким множеством бисера, что он стучал, словно град по крыше,— мне это пришлось слышать, когда я ночевала в грозу у одной подруги в студии на самом верхнем этаже.

А мое платье! — слушайте, мой милый, я для вас даром тратить слова не намерена. Оно было все сплошь из кружев ручной работы — там, где вообще что-нибудь было, — и обошлось в триста долларов. Я сама видела счет. Мужчины были все лысые или с седыми баками и все время перебарывались остроумными репликами насчет трехпроцентных бумаг, Брайана и видов на урожай хлопка.

Слева от меня сидел какой-то банкир, или что-нибудь вроде, судя по разговору, а справа — молодой человек, который сказал, что он газетный художник. Он был единственный... вот про это я и хотела вам рассказать.

После обеда мы с миссис Браун пошли к себе наверх. Нам пришлось протискиваться сквозь толпу репортеров, заполонивших вестибюль и коридоры. Вот что деньги для вас могут сделать. Скажите, вы не знаете случайно одного газетного художника по фамилии Латроп — такой высокий, красивые глаза, интересный в разговоре. Нет, не помню, в какой газете он работает. Ну, ладно.

Пришли мы наверх, и миссис Браун позволила, чтобы ей немедленно подали счет. Счет прислали — он был на шестьсот долларов. Я сама видела. Тетя Мэгги упала в обморок. Я уложила ее на софу и растегнула бисерный панцирь.

— Деточка,— говорит она, возвратившись к жизни,— что это было? Повысили квартирную плату или ввели подоходный налог?

— Так, небольшой обед,— говорю я.— Не о чем беспокоиться, это же капля в денежном море. Сядьте и придите в себя — можно и выехать, если ничего другого не остается.

И как вы думаете, мой милый, что случилось с тетей Мэгги? Она струсила. Скорей увезла меня из этого отеля «Бонтон», едва дождавшись девяти часов утра. Мы переехали в меблирашки в нижнем конце Вест-Сайда. Она сняла одну комнату, где вода была этажом ниже, а свет — этажом выше. После того как мы переехали, у нас в комнате только и было что модных платьев на полторы тысячи долларов да газовая плита с одной конфоркой.

Тетя Мэгги переживала острый приступ скупоности. Я думаю, каждому случается разойтись вояку хоть единожды в жизни. Мужчина швыряет деньги на выпивку, а женщина сходит с ума из-за тряпок. Но при сорока миллионах, знаете ли! Хотела бы я видеть такую картину — кстати, о картинах, не встречали ли вы газетного художника по фамилии Латроп, такой выскок — ах да, я уже спрашивала у вас, правда? Он был очень внимателен ко мне за обедом. У него такой голос! Мне нравится. Он, должно быть, подумал, что тетя Мэгги завещает мне сколько-нибудь из своих миллионов.

Так вот, мой милый, через три дня это облегченное домашнее хозяйство надоело мне до смерти. Тетя Мэгги была все так же ласкова. Она просто глаз с меня не сводила. Но позволить мне сказать вам, это была такая скряга, просто скряга из скряг, всем скрягам скряга. Она твердо решила не тратить больше семидесяти пяти центов в день. Мы готовили себе обед в комнате. И вот я, имея на тысячу долларов самых модных платьев, выделявала всякие фокусы на газовой плите с одной конфоркой.

Повторяю, на третий день я сбежала. У меня в голове не вязалось, как это можно готовить на пятнадцать центов тушенных почек в стопятидесятидолларовом домашнем платье со вставкой из валансенских кружев. И вот я иду за шкаф и переодещаюсь в самое дешевое платье из тех, что миссис Браун мне купила, — вот это самое, что на мне, — не так плохо за семьдесят пять долларов, правда? А свои платья я оставила на квартире у сестры, в Бруклине.

— Миссис Браун, бывшая тетя Мэгги,— говорю я ей,— сейчас я начну переставлять одну ногу за другой попеременно так, чтобы как можно скорей уйти подальше от этой квартиры. Я не поклонница денег,— говорю я,— но есть вещи, которых я не терплю. Еще туда-сюда сказочное чудовище, о котором мне приходилось читать, будто оно одним дыханием может напустить и холод и жару. Но я не терплю, когда дело бросают на полдороге. Говорят, будто вы скопили сорок миллионов — ну, так у вас никогда меньше не будет. А ведь я к вам привязалась.

Тут бывшая тетя Мэгги ударяется в слезы. Обещает переехать в шикарную комнату с водой и двумя газовыми конфорками.

— Я потратила уйму денег, девочка,— говорит она.— На время нам надо будет сократиться. Вы самое красивое создание, какое я только видела, говорит, и мне не хочется, чтобы вы от меня уходили.

Ну, вы меня понимаете, не правда ли? Я пошла прямо в «Акрополь», попросилась на старую работу, и меня взяли. Так как же, вы говорили, у вас с рассказами? Я знаю, вы много потеряли оттого, что не я их переписывала. А рисунки к ним вы когда-нибудь заказываете? Да, кстати, не знакомы ли вы с одним газетным художником... ах, что это я! Ведь я вас уже спрашивала. Хотела бы я знать, в какой газете он работает. Странно, только мне все кажется, что он и не думал о деньгах, которые, как я думала, может мне завещать старуха Браун. Если б я знала кого-нибудь из газетных редакторов, я бы...

За дверью послышались легкие шаги. Мисс Бэйтс увидела, что это, сквозь заднюю гребенку в прическе. Она вдруг порозовела, эта мраморная статуя,— чудо, которое видели только я да Пигмалион.

— Ведь вы извините меня?— сказала она мне, превращаясь в очаровательную просительницу.— Это... это мистер Латроп. Может быть, он и в самом деле не из-за денег, может быть, он и правда...

Разумеется, меня пригласили на свадьбу. После церемонии я отвел Латропа в сторону.

— Вы художник,— сказал я.— Неужели вы до сих пор не поняли, почему Мэгги Браун так сильно полюбила мисс Бэйтс, то есть бывшую мисс Бэйтс? Позвольте, я вам покажу.

На новобрачной было простое белое платье, падавшее красивыми складками, наподобие одежды древних греков. Я сорвал несколько листьев с гирилянды, украсившей маленькую гостиную, сделал из них венки и, возложив его на блестящие каштановые косы урожденной Бэйтс, заставил ее повернуться в профиль к мужу.

— Клянусь честью!— воскликнул он.— Ведь Ида вылитая женская головка на серебряном долларе!

МЛАДЕНЦЫ В ДЖУНГЛЯХ

Как-то раз в Литл-Роке говорит мне Монтэгу Силвер, первый на всем Западе ловкач и пройдоха:

— Если ты когда-нибудь выживешь из ума, Билли, или почувствуешь, что ты уже слишком стар, чтобы по-честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один простак, но в Нью-Йорке их просто мучат, как икру, так что и не сосчитать.

Прошло два года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали вылетать у меня

из памяти, и над левым ухом появилось несколько седых волосков; тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Силвера.

Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день около полудня и сразу же пошел прогуляться по Бродвею. Вдруг вижу — Силвер собственной персоной: наверно на нем разной шикарной галантереи, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях шелковым платочком.

— Силвероз могла или преждевременная старость? — спрашиваю я его.

— А, Билли! — говорит Силвер. — Рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнело. А Нью-Йорк я себе давно уже приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво обирать таких людей, как нью-йоркские жители. Ведь они считают умеют только до трех, танцевать только от печки, а думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я общаюсь таких немислешней. Она меня не для того воспитывала.

— А что, у дверей, где написано: «Принимают в чистку», уже толпится очередь? — спрашиваю я.

— Да нет, — говорят Силвер. — В наши дни и без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить; и все учащиеся воскресной школы Вилли Манхэттена, изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие, благоволят послать свои фотографии для помещения в «Ивнинг дейл».

— Я тут знакомился с городом, — говорит дальше Силвер, — читал каждый день газеты и, могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-нрландцев. Люди здесь такие, что, если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что. По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару.

Повел меня Силвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины.

— Есть много способов выкачивать деньги из этих столичных олухов, — говорит Силвер, — больше даже, чем способов варить рис в Чарлстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее и учнее, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж. П. Моргану писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину Андреа дель Сарто «Иоанн Креститель в молодости».

Видишь там, в уголке, кипу печатных брошюр? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через два часа должен был прекратить торговлю. Почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По доро-

ге в участок я успел продать десяток полисмену, который меня вел. Но после этого я их излял из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они хоть немножко подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове «Чик-го», или прикупить к паре девятков, прежде чем доставать кошельки из кармана.

А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я избобрал у себя на рисунке татуировку в виде якоря, пошел в один банк и представился там как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать тысячу долларов под вексель с переводом на дядю, да на беду я не знал его инициалов. Но по этому примеру ты можешь судить, до чего легко работать в этом городе. Грабители, например, так те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата прислуги с высоким образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действием.

— Монти, — говорю я, как только Силвер затормозил, — может, ты и правильно разделал Манхэттен в своем резюме, но что-то мне не верится. Я здесь всего два часа, но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку и даже ложка рядом. На мой вкус, ему не хватает *pus in urbe*¹. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах и они питали страсти к бархатным жилетам и брелокам с гирю величиной. Боюсь, что не так уж они просты.

— Все понятно, Билли, — говорит Силвер. — Ты заболел эмигрантской болезнью. Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и приезжему человеку с непривычки страшновато. Но ничего, это у тебя пройдет. Я же тебе говорю, мне иной раз хочется отшельничать здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои деньги уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых. А то еще тащись за ними на улицу! Знаешь, кто в этом городе ходит в брильянтах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить нью-йоркца легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит — как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты двадцатками.

— Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я, — только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неудачный год там всегда наберется десяток-другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для поч-

¹Сельский элемент в городе (лат.).

ты, который можно учесть в местном банке сотни за две долларов. А у здешних людей, сдаешь мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато.

— Напрасные опасения,— говорит Силвер.— Я знаю настоящую цену этому Крентону близ Разинвилля, и это так же верно, как то, что Северная река — это Гудзон, а Восточная река — вообще не река. Да тут в четырех кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за каких-нибудь три месяца должен сделаться здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джемса, либо осуждение Лоусона.

— Оставим гиперболы,— говорю я,— и скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на доллар-другой, не обращаясь к Армии спасения и не падая в обморок на крыльце особняка мисс Эллен Гулд?

— Могу предложить хоть двадцать способов,— говорит Силвер.— Сколько у тебя капитала, Билли?

— Тысяча,— отвечаю.

— А у меня тысяча двести,— говорит он.— Составим компанию и будем делать большие дела. Есть столько возможностей нажить миллион, что я просто не знаю, с какой начинать.

На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия.

— Сегодня мы познакомимся с Дж. П. Морганом,— говорит он.— Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада.

— Вот это уже похоже на дело!— говорю я.— Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом.

— Да,— говорит Силвер,— нам, пожалуй, не помешает завести знакомства среди финансовых воротил. Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих.

Фамилia знакомого Силвера была Клейн. В три часа Клейн явился к Силверу в номер вместе со своим приятелем с Уолл-стрита. Мистер Морган был немного похож на свои портреты: левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку.

— Это мистер Силвер, а это мистер Пекад,— говорит Клейн.— Я думаю, нет нужды,— говорит он,— называть имя великого финансового...

— Ну, ну, ладно, Клейн,— говорит мистер Морган.— Рад познакомиться с вами, джентльмены; меня очень интересует Запад. Клейн сказал мне, что вы из Литл-Рока. У меня как будто имеется парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я...

— Пирпонт, Пирпонт,— перебивает Клейн.— Вы что, забыли?

— Ах, извините, джентльмены!— говорит Морган.— С тех пор как у меня сделалась подагра, я иногда играю в карты со знакомыми, которые навещают меня в моем особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там, на Западе, встречать Одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, Нью-Мексико.

Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, браня кого-то громким голосом.

— Что, Пирпонт, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций?— спрашивает Клейн с усмешкой.

— Какие там еще акции!— грозно рычит мистер Морган.— Это я расстраиваюсь из-за той картины, за которой специально посылал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтрашний день заплатил за эту картину пятьдесят тысяч долларов — да что пятьдесят! Семьдесят пять тысяч заплатил бы. Я дал своему человеку *a la carte*: покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящий да Винчи...

— Как, мистер Морган?— говорит Клейн.— Разве не все картины да Винчи находятся в вашей коллекции?

— А что это за картина, мистер Морган?— спрашивает Силвер.— Наверно, она величиной с боковую стену небоскреба «Утог»?

— Вы, я вижу, не очень разбираетесь в искусстве, мистер Силвер,— говорит Морган.— Это картинка размером двадцать семь дюймов на сорок два, и называется она «Досуг любви». Нарисовано на ней несколько барышень-манекенщиц, которые танцуют тустеп на берегу лиловой реки. В телеграмме говорится, что скорей всего эта картинка уже вывезена в Америку. А без нее моя коллекция не полна. Ну, мне пора, джентльмены. Наш брат, финансист, должен, знаете, соблюдать режим.

Мистер Морган уехал от нас в кебе вместе с Клейном. После их ухода мы с Силвером долго говорили о том, как простодушны и доверчивы великие люди; Силвер сказал, что обмануть такого человека, как мистер Морган, было бы просто бессовестно; а я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно.

После обеда Клейн предложил пройтись по городу, и мы втроем, я, он и Силвер, отправились на Седьмую авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел записки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить их, а мы вошли вместе с ним.

Когда мы вернулись в отель и Клейн ушел к себе, Силвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками.

— Видал?— говорит он.— Ты ее видал, Билли?

— Кого — ее?— спрашиваю.

— Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика, прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить при Клейне. Будь уверен, это та самая. Барышни прямо как живые, из таких, что носят платья сорок шестого размера, но там-то они обходятся без платьев. И все так меланхолично выбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. Сколько, мистер Морган сказал, он бы отдал за эту картину? Ну, неужели не понимаешь? Ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там за сокровище.

На следующее утро лавка еще не успела открыться, а мы с Силвером уже были тут как тут, словно двое забулдыг, которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов.

— Это что за мазня у вас там висит, над конторкой?— говорит Силвер хозяину как бы между прочим.— Вообще говоря, никудашняя картинка, но мне на ней приглянулась вон та рыженькая, с острыми лопатками. Я бы вам предложил за нее два доллара с четвертью, да боюсь, как бы вы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя.

Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота.

— Эту картину,— говорит он,— принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее пятьсот долларов. Это «Досуг любви» Леонардо да Винчи. Как раз два дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу как невыкупленный заклад. Вот, рекомендую эту цепочку, очень модный фасон.

Полчаса спустя мы с Силвером вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее ростовщику две тысячи наличными. Силвер сразу же сел в киб и покотил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и жду. Через два часа является Силвер.

— Ну, как, застал мистера Моргана?— спрашиваю я.— Сколько он заплатил за картину?

Силвер садится и начинает перебирать бахромю скатерти.

— Мистера Моргана мне заставить не удалось,— говорит он,— потому что мистер Морган уже второй месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билл: эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов. А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов — как же это получается, хотел бы я знать?

ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я сам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколлом на Юге,

в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, «нашло временное помрачение ума»,— только мы-то об этом догадались много позже.

Есть там один городишко, плоский, как блин, и, конечно, называется «Вершинный». Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой в пору только плясать вокруг майского шеста.

У нас с Биллом было в то время долларов шестьсот объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно две тысячи на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чадолобие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах; а поэтому, а также и по другим причинам план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, да каких-нибудь сентиментальных ишек, да двух-трех обличительных заметок в «Еженедельном бюджете фермера». Как будто получало недурно.

Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сын был мальчишка лет десяти, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупает обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сына две тысячи долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу.

Мнях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию.

Однажды вечером, после захода солнца, мы проехали в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе.

— Эй, мальчик!— говорил Билл.— Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?

Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича.

— Это обойдется старику в лишних пятьсот долларов,— сказал Билл, перелезая через колесо.

Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса, но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанмали, мнях в трех от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком.

Смотрю, Билл заклевывает липким пластырем

царапин и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя ястребными перьями в рыжих волосах следит за кпящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит:

— А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь Вождя Краснокожих, грозь равнин?

— Сейчас он еще ничего, — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разгладить ссадины на голених. — Мы играем в индейцев. Цирк по сравнению с нами — просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я старый охотник Хенк, племянник Вождя Краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученки! И здоров же лгаться этот мальчишка!

Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил Зменным Глазом и Согладатаем и объявил, что, когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце.

Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде:

— Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу; зато у меня был один раз ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось девять лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали шестнадцать штук яиц из-под рябой курицы тетки Джинн Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подлилки. Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются? У нас было пять штук шенят. Хенк, отчего у тебя нос такой красный? У моего отца денег видимо-невидно. А звезды горячие? В субботу я два раза отлунил Эда Уокера. Не люблю девчонок! Жабу не очень-то поймаешь, разве только на веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Меррей — шестипалый. Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыба нет. Дюжина — это сколько будет?

Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру высматривая лззутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хенка. Билла этот мальчишка запугал с самого начала.

— Вождь Краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?

— А ну их, чего я там не видал? — говорит он. — Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, Зменный Глаз?

— Пока не собираюсь, — говорю я. — Мы еще поживем тут в пещере.

— Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!

Мы легли спать часов в одиннадцать. Рас-

стелили на землю шерстяные и стеганные одеяла, посередине уложили Вождя Краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбегит, мы не боялись. Часа три он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье; при каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников, и он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приволок к дереву свирепый пират с рыжими волосами.

На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины, — нет, прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжит женщина, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина.

Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь Краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером.

Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что Вождь Краснокожих обещался съечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале.

— Чего ты поднялся в такую рань; Сэм? — спросил меня Билл.

— Я? — говорю. — Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного.

— Врешь ты, — говорит Билл. — Ты боишься. Тебя он хотел съечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И съег бы, если бы нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?

— Думаю, — говорю я. — Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с Вождем Краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку.

Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении горда я ожидал увидеть дюжих фермеров, с косами и вилами рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж, и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки; всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока

еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед монми глазами.

— Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненокка из загоя. Помоги, боже, волкам! — И я спустился с горы завтракать.

Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирает его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.

— Он сузил мне за шиворот с пиялы горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм?

Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.

— Я тебе покажу! — говорят мальчишка Биллу. — Еще ни один человек не ударил Вождя Краснокожих, не заплатившись за это. Так что ты берегись!

После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.

— Что это он теперь затеял? — тревожно спрашивает Билл. — Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?

— Не бойся, — говорю я. — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал, а может быть, еще не пронохали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отца письмом и потребуем две тысячи долларов выкупа.

И тут мы услышали что-то вроде военного кланча, какой, должно быть, испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, Вождь Краснокожих вытаскил из кармана прашу и теперь крутил ее над головой.

Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцом стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головою в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытаскил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой.

Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит:

— Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?

— Ты погоди, — говорю я. — Мало-помалу придется в чувство.

— Царь Ирод, — говорит он. — Ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного?

Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг о друга.

— Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я, — я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?

— Я ведь только пошутил, — сказал я, надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка. А он зачем меня ударил? Я буду слушаться, Змеяный Глаз, только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков.

— Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай помирись с ним да попроси прощения за то, что ты его ушиб, а не то сейчас же отправимся домой.

Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку Поллар-Ков, в трех милях от пещеры, и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.

— Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и воду, не моргнув глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезд и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм?

— Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого, — говорю я. — Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету.

Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо, а Вождь Краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в полторы тысячи долларов вместо двух.

— Я вовсе не пытаюсь унижить прославленную, с моральной точки зрения, родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить две тысячи долларов за эту веснушчатую дикушку кошку! Я согласен рискнуть: пускай будет полторы тысячи долларов. Разницу можешь отнестись на мой счет.

Чтобы утешить Билла, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое письмо:

«Эбенезеру. Дорсету, эскавиру.

Мы спрятали вашего мальчишку в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие: мы требуем за его возвращение полторы тысячи долларов; деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ, — где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через Свиный ручей

по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии ста ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля, с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив третьего дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробочку.

Он должен положить ответ в эту коробочку и немедленно вернуться в город.

Если вы попытаетесь выдать нас или не выполните наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына.

Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение трех часов. Эти условия окончательны, и, если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны.

Два злодея.

Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:

— Змеиный Глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет.

— Играй, конечно, — говорю я. — Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая?

— Я разведчик, — говорит Вождь Краснокожих, — и должен сказать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком.

— Ну, ладно, — говорю я. — По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей.

— А что мне надо делать? — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.

— Ты будешь конь, — говорит разведчик. — Становись на четвереньки. А то как же я до скачу до заставы без коня?

— Ты уж лучше займи его, — сказал я, — пока иш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко.

Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.

— Далеко ли до заставы, малыш? — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.

— Десятисто миль, — отвечает разведчик. — И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Ну, пошел!

Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.

— Радн бога, — говорит Билл, — возвращаясь, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп, надо бы не больше тысячи. Слушай, ты перестань меня лгать, а не то я вскожу и огрею тебя как следует!

Я отправился в Поплар-Ков, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил немножко с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табак, справился немножком, почем нынче горох, незамет-

но опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту.

Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился раза два аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий.

Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился футов в восьми позади него.

— Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные, однако бывают случаи, когда все идет прахом — и самоимение и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все конечно. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.

— Что такое случилось, Билл? — спрашиваю я.

— Я проскакал все девяносто миль до заставы, ни дюйма меньше, — отвечает Билл. — Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырах ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны и отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватало мальчишку за шиворот и ташу с горы вниз. По дороге он меня лягает, все ноги от колен книзу у меня в синяках; два-три укуса в руку и в большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел, — продолжает Билл, — ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на восемь вперед. Жалко, что выкуп мы теряем, ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.

Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.

— Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?

— Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?

— Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной.

Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи.

Так что Билл нисколько подобрались, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чутько полегче.

Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной, и мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги; вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон — большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка коистебелей, его увидели бы издаലെ на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный.

Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город.

Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем:

«Двум злодеям.

Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне двести пятьдесят долларов наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долгой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой.

С совершенным почтением

Эбенезер Дорсет».

— Великие пираты! — говорю я. — Да ведь этакой наглости...

Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных.

— Сэм, — говорит он, — что такое двести пятьдесят долларов в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свезти в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?

— Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на

нервы. Мы отвезем его домой, заплатим: выкуп и сможем куда-нибудь подальше.

В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили — напелли, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя.

Было ровно двенадцать часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать полторы тысячи долларов из коробки под деревом, Билл отсчитывал двести пятьдесят долларов в руку Дорсету.

Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял такой вой не хуже паровой сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирает его от ноги, как липкий пластырь.

— Сколько времени вы сможете его держать? — спрашивает Билл.

— Силы у меня уж не те, что прежде, — говорит старик Дорсет, — но думаю, что за десять минут могу вам ручаться.

— Этого довольно, — говорит Билл. — В десять минут я пересеку Центральные, Южные и Среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы.

Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.

КОЛОВАРЩЕНИЕ ЖИЗНИ

Мировой судья Бинадха Ундпед сидел на крыльчке суда и курил самодельную бузиную трубку. Кэмберлендский горный краж, голубовато-серый в вечернем маре, тянулся к зениту, загромождал полнеба. Рябая чваильная курица проковыляла по «главному проспекту» поселка, бессмысленно хлопая.

На дороге послышался скрип колес, забилось облачко пыли и показалась запряженная быком двуколка, а в ней — Рэйси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэйси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанной на высоте шести футов конной желтой волос. Невозмутный покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла.

Мировой судья сунул ноги в башмаки, из уважения к своему званию, и поднялся, чтобы пропустить супругов.

— Мы, вот, — сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен, — хотим развестись. — Она взглянула на мужа, не усмотрев ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастия или

стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела.

— Развестись, — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. — Мы, вот, не можем ужиться, хоть ты тресни! В го-рах-то у нас глушь — одиноко, стало быть, жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки — еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахохлившись, что твоя сова, цело-веку-то мочи нет жить с ней вместе.

— Да когда он бездельник и чумовой, — без особенного жара сказала женщина. — Ва-лаидается с разными поганцами, с самогон-щиками, а после дрыхнет день-деньской, нала-кавшись виски, да еще целая напасть с его со-баками — корми их!

— Да когда она швыряется крышками от кастрюль, — в тои ей забубил Рэнси, — да еще окатила кипитком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберленд, а чтоб мужу похлебку сва-рить, так нет ее, а уж ночь-то всю как ешь глаз сомкнуть не дает, все пилит за всякую пустя-ковину.

— Да когда он на податных чиновников с кулаками лезет и на все горы ославился как са-мый что ни на есть никудашный пропойца, — тут нешто устроишь?

Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу.

— В законе и его уложении, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрис-дикцию данного суда. Но, с точки зрения спра-ведливости, конституции и Священного писа-ния, всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узамн брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о раз-воде и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе.

Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол пятидолларовую бумажку.

— Продам медвежью шкуру и трех лиснц, — сказал он. — Вот все наши денежки, больше нету.

— Установленная судом плата за развод, — сказал судья, — равняется пяти долларам. — С подчеркнуту равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканого жилета. Затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановление о разводе, переписал его на дру-гую четвертушку и прочел вслух. Рэнси Билбро и его супруга выслушали приговор о своем пол-ном и обоюдном раскабалении:

«Сим доводится до всеобщего сведения, что Рэнси Билбро и его жена Эрнэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично

предстали сегодня передо мной и дали обеща-ние отныне и впредь не любить и не почитать друг друга и ни в чем друг другу не повиновать-ся, ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокой-ствия и достоинства Штата. От слова не отсту-пать, и да поможет вам бог. Бинаджа Унддеп, мировой судья округа Пьемонта. В округе Пьемонте, штат Теннесси».

Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эрнэлы приостановил вруче-ние документа. Оба мужчины усталились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то неподвиж-ным.

— Судья, ты погоди-ка давать ему эту бу-магу. Так не все ладно будет. Ты наперед защи-ти мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело — сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь? А я вот надумала отпра-виться к братцу Эду на Свиной хребет, так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да еще то да се. Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне платит пансион.

Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пансоне прежде у них разговору не было. Но ведь женщины всегда преподисают мужчи-нам ошеломляющие сюрпризы.

Мировой судья Бинаджа Унддеп понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юри-дическом порядке. Свод законов храннл и на сей счет гробовое молчание, однако ноги же-нщины были босы, а тропа на Свиной хребет — крута и кремниста.

— Эрнэла Билбро, — спросил Бинаджа Унддеп судейским голосом, — какой пансион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?

— Я полагаю, — отвечала женщина, — на башмаки и на все про все, стало быть, пять дол-ларов. Это не бог весть какой пансион, но до братца Эда, может, и доберусь.

— Названная сумма, — сказал судья, — не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить исти-це пять долларов, дабы постановление о разво-де могло войти в силу.

— А где их взять-то, с тяжелым вздо-хом отвечал Рэнси, — может, я бы и наскреб-где. Кто ж его знал, что она потребует пан-сион.

— Слушанье дела откладывается, — объ-явил судья. — Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда. После чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе.

Бинаджа Унддеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки.

— Что ж, к дядюшке Зайе поедем, что ли? — сказал Рэнси. — Переночуем у него. — Он влез в двуколку, Эрнэла забралась в нее с другой сто-роны. Маленький рыжий бычок, повинуясь уда-ру веревочной вожжи, не торопясь описал полу-

круг и потащил судью куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге.

Судья Бинаджа Уиддеп выкурил свою бузиновую трубку. Потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина.

Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма, у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутая шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя.

— Давай, деньги, — сказала фигура, — да помалкивай. Я зол как черт, и палец, вишь, так и пляшет на спуске...

— П-п-пять долларов — все, что у меня есть, — пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана.

— Сверни ее, — последовал приказ, — и засунь в ствол ружья.

Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожавшим от страха неуклюжим пальцам нетрудно было свернуть ее трубочкой и (что потребовало больших усилий!) засунуть в ствол ружья.

— Ну ладно, ступай теперь, — сказал грабитель.

Судья не стал мешкать.

На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бинаджа Уиддеп с утра сидел обутом, так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бинаджа Уиддеп воздержался от замечаний. Мало ли чего — никакой бумажке не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эризла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа.

— Ты, стало быть, домой теперь, на двуколке... Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок — от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь.

— А ты, значит, к братцу Эду? — с тонок разыгранным безразличием спросил Рэнси.

— Да вот до ночи надо бы добраться. Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят, да куда ж больше пойдешь. А путь-то туда знаешь какой. Пойду уж, стало быть... Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси... да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то.

— Может, я, конечно, собаку, — голосом мученика проговорил Рэнси, — не захочу, видишь ты, попрощаться!.. Оно, конечно, когда кому нестерпимо уйти, так тому, может, и не до прощанья...

Эризла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху. Бинаджа Уиддеп скорбным взглядом проводил исчезающую банкноту.

Мысли его текли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности — к финансовым гениям.

— Одинок тебе будет нынче в старой-то хижине, а, Рэнси? — сказала Эризла.

Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский край — светло-синий сейчас, в лучах солнца. Он не смотрел на Эризлу.

— А то нет, что ли, — сказал он. — Так ведь когда кто начнет с ума сходить да кричать насчет развода, так разве ж того силком удерживать?

— Так когда ж кто другой сам хотел развода, — сказала Эризла, адресуясь к табуретке. — Видать, кто-то не больно уж хочет, чтобы кто-то остался.

— Да когда б кто сказал, что не хочет.

— Да когда б кто сказал, что хочет. Пойду-ка я к братцу Эду. Пора уж.

— Видать, теперь никто уж не заведет наших часов.

— Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке, завести тебе часы?

На лице горца не отразилось никаких чувств. Но он протянул огромную ручищу, и худая, корчиная от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эризлы просветлели, словно озаренные изнутри.

— Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя, — сказал Рэнси. — Скотинка я был, как есть скотинка. Ты уж заведи часы, Эризла.

— Сердце-то у меня там осталося, Рэнси, в нашей хижине, — шепнула Эризла. — Где ты — там и оно. И я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси, может, еще послеполно засветло.

Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бинаджа Уиддеп окликнул их.

— Именем штата Теинессен, — сказал он, — запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отрадно и не скажу как радостно видеть, что разведенные тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты Штата и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам и, стало быть, больше не муж и жена и, как не таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кои составляют исключительную привилегию матримониального состояния.

Эризла схватила мужа за руку. Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок?

— Однако, — продолжал судья, — суд готов снять с вас неправомочия, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить

к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место и тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вниво в благородное и возвышенное matrimonialное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, пять долларов.

В последних словах судьи Эрнэла увалила для себя слабый проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенной на свободу голубкой, выпорхнула пятидолларовая бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эрнэла зарделись, когда она, стоя рука об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз.

Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они — все так же рука с рукой — покатали к себе в горы.

Мировой судья Бинаджа Уиндпен уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пошупал еще раз засунутую в жилетный карман пятидолларовую бумажку. Закурил свою бузинувую трубку. Рябая чванливая курица проковыляла по «главному проспекту» поселка, бессмысленно kloхча.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

В двадцати милях к западу от Таксона «Вечерний экспресс» остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, «Акула» Додсон и индеец-метис из племени криков, по прозвищу Джон Большая Собака, влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании: «Да что вы! Быть не может!» По короткой команде Акулы Додсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз с тендером. После этого Джон Большая Собака, забравшись на грудь угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на пятьдесят ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений.

Акула Додсон и Боб Тидбол не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом порбоду, как пассажиры, а направились прямо к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох — он был в полной уверенности, что «Вечерний экспресс» не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Боб Тидбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизарядного кольта, Акула Додсон, не теряя време-

ни, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона.

Сейф взорвался, дав тридцать тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Тидбол, побросав добычу в крепкий брезентовый мешок, прыгнули наземь и, спотыкаясь на высоких каблучках, побежали к паровозу.

Машинист, угрюмо, но благоразумно повинаясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь большой дороги скатился наземь с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую.

В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты вызывающе помахали ему на прощание ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившихся сквозь кусты чапаралля, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дождалась Джона Большой Собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сияя с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешок на луку седла, и поскакали быстро, но озираясь по сторонам, сначала через лес, затем по дикому, пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Тидбола поскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись держать совет. Прodelав такой длинный, извилистый путь, они были пока в безопасности — время еще терпело. Много миль и часов отделило их от самой быстрой погони. Лошадь Акулы Додсона, волоча уздечку по земле и повоя боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боб Тидбол развязал мешок и, смеясь, как ребенок, выгреб из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом.

— Послушай-ка, старый разбойник, — весело обратился он к Додсону, — а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело. Ну и голова у тебя, прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед.

— Как же нам быть с лошадью, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.

— Ну, твой Боливар выдержит пока что и двонх, — ответил жизнерадостный Боб. — Заберем первую же лошадь, какая нам подвер-

нется. Черт возьми, хорош улов, а? Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано,— по пятнадцать тысяч на брата.

— Я думал, будет больше,— сказал Акула Додсон, слегка подталкивая пачки с деньгами носком сапога. И он окинул задумчивым взглядом мокрые бока своего замороженного коня.

— Старик Боливар почти выдохся,— сказал он с расстановкой.— Жалко, что твоя гневная сломала ногу.

— Еще бы не жалко,— простошлону ответил Боб,— да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный — он нас довезет куда надо, а там мы сменим лошадей. А ведь, прах побери, смешило, что ты с Востока, чужак здесь, а мы на Западе, у себя дома, и все-таки тебе в подметки не годимся. Из какого ты штата?

— Из штата Нью-Йорк,— ответил Акула Додсон, садясь на валун и пожевывая веточку.— Я родился на ферме в округе Олстер. Семнадцать лет я убежал из дому. И на Запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчася я раздумывал, как мне быть, потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на Запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу.

— По-моему, было бы то же самое,— философски ответил Боб Тидбол.— Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.

Акула Додсон встал и прислонился к дереву.

— Очень мне жалко, что твоя гневная сломала ногу, Боб,— повторил он с чувством.

— И мне тоже,— согласился Боб,— хорошая была лошадка. Ну, да Боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора и двигаться, Акула. Сейчас я все это уложу обратно, и в путь; рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Боб Тидбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло сорокапяткалиберного кольта, из которого целился в него бестрепетной рукой Акула Додсон.

— Брось ты эти шуточки,— ухмыляясь, сказал Боб.— Пора двигаться.

— Сиди, как сидишь! — сказал Акула.— Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не нести.

— Мы с тобой были товарищами целых три года, Акула Додсон,— спокойно ответил Боб.— Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобой честен, думал, что ты человек. Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих из за что

ни про что, да не поверил. Если ты пошутил, Акула, убери кольт и бежим скорее. А если хочешь стрелять — стреляй, черная душа, стреляй, тарантул!

Лицо Акулы Додсона выразило глубокую печаль.

— Ты не поверишь, Боб,— вздохнул он,— как мне жаль, что твоя гневная сломала ногу.

И его лицо мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

В самом деле, Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея — Боливар — быстро унес прочь последнего из шайки, ограбившей «Вечерний экспресс», — коню не пришлось нести двойной груз.

Но когда Акула Додсон скакал по лесу, деревья перед ним словно застлало туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла, обивка седла была какой-то странная, и, открыв глаза, он увидел, что его ноги упираются не в стремена, а в письменный стол мореного дуба.

Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы «Додсон и Деккер», Уолл стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор.

— Кхм! Пибоди,— моргая, сказал Додсон.— Я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди?

— Мистер Уильямс от «Трэси и Уильямс» ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за Икс, Игрек, Зет. Он попался с ними, сэр, если припомните.

— Да, помню. А какая на них расценка сегодня?

— Один восемьдесят пять, сэр.

— Ну вот и рассчитайтесь с ним по этой цене.

— Простите, сэр,— сказал Пибоди, волнуясь,— я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон, а ведь вы скупили все Икс, Игрек, Зет. Мне кажется, вы могли бы, то есть... Может быть, вы не помните, что он продал их вам по девятно десяти. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом.

Лицо Додсона мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

— Пусть платит один восемьдесят пять,— сказал Додсон.— Боливару не нести двоих.

ЧАРОДЕЙНЫЕ ХЛЕБЦЫ

Мисс Марта Мичем содержала маленькую булочную на углу (ту самую, знаете? где три ступеньки вниз и, когда открываешь дверь, дребезжит колокольчик).

Мисс Марте стукнуло сорок, на ее счету в банке лежало две тысячи долларов, у нее было два вставных зуба и чувствительное сердце. Немало женщин выходило замуж, имея на то гораздо меньше шансов, чем мисс Марта.

Раза два-три на неделе в ее булочной появлялся покупатель, которым она мало-помалу заинтересовалась. Это был человек средних лет, в очках и с темной бородкой, аккуратно подстриженной клиншиком.

Он говорил по-английски с сильным немецким акцентом. Костюм на нем — старенький, неотутюженный, местами подштопанный — сидел мешковато. И тем не менее вид у него был опрятный, а главное — манеры хорошие.

Этот покупатель всегда брал два черствых хлеба. Свежие хлебцы стоили пять центов штука. Черствые — два на пять центов. И ни разу он не спросил ничего другого.

Однажды мисс Марта заметила у него на пальцах следы красной и коричневой красок. Тогда она решила, что он художник и очень нуждается. Наверно, живет где-нибудь на чердаке, питается черствым хлебом и мечтает о разных вкусных вещах, которых так много в булочной у мисс Марты.

Принимаясь теперь за свой завтрак — телячья отбивная, слобочки, джем и чай, — мисс Марта частенько выпускала вздох и сокрушалась, что этот художник, такой делкатный, воспитанный, вместо того чтобы делить с ней ее вкусную трапезу, гложет сухие корки у себя на чердаке, где гуляет сквозняк. Сердце у мисс Марты было, как вы уже знаете, чувствительное.

Решив проверить свою догадку о профессии этого человека, она вынесла из задней комнаты в булочную картину, купленную когда-то на аукционе, и поставила ее на полку позади прилавка.

На картине изображалась сценка из венецианской жизни: на самом видном — вернее, на самом *водном* месте высилось великолепное мраморное палаццо (если верить подписи). Остальное пространство было занято гондолами (дама, сидевшая в одной из них, вела пальчиком по воде), облаками, небом и обилием светотени. Ни один художник не сможет пройти мимо такой картины, не обратив на нее внимания.

Через два дня покупатель зашел в булочную.

— Два черствых хлеба, пожалуйста.

И когда мисс Марта стала заворачивать хлебцы в бумагу, он сказал:

— Какой у вас красивый картина, мадам.

— Да? — Мисс Марта пришла в восторг

от собственной хитрости. — Я так люблю искусство н... (Не рано ли говорить: «н художников»?) — Найдя подходящую замену, мисс Марта заключила: — ...н живопись. Вам нравятся эта картина?

— Торец нарисован неправильно, — ответил покупатель. — Неферный перспектив. До свидания, мадам.

Он взял свои хлебцы, поклонился и быстро вышел.

Да, тут и сомневаться нечего, он художник. Мисс Марта унесла картину обратно в заднюю комнату.

Какой мягкий, добрый свет излучал его глаза из-за очков! Какой у него высокий лоб! С первого взгляда разобраться в перспективе — н жить на черством хлебе! Но гениям нередко приходится бороться за существование, прежде чем мир признает их.

А как выиграло бы искусство и перспектива, если бы такого гения поддержать двумя тысячами долларов на банковском счету, булочной и чувствительным сердцем... Но вы начинаете грезить наяву, мисс Марта!

Теперь, заходя в булочную, покупатель задерживался у прилавка минуту-другую, чтобы поболтать с хозяйкой. Ее приветливость, видимо, радовала его.

Он продолжал покупать черствый хлеб. Ничего, кроме черствого хлеба, ни пирожных, ни пирожков, ни ее восхитительного песочного печенья.

Мисс Марте казалось, что он похудел за последнее время, стал какой-то грустный. Ей так хотелось добавить чего-нибудь вкусного к его скудным покупкам, но всякий раз мужество покидало ее. Она не осмеливалась нанести ему обиду. Ведь эти художники такие гордые.

Мисс Марта стала появляться за прилавком в шелковой блузе — белой, в синей горошек. В комнате позади булочной она состряпала некую таинственную смесь из айвовых семечек и буры. Многие употребляют это средство для придания белзны коже.

В один прекрасный день покупатель зашел в булочную, положил на прилавок, как обычно, монету в пять центов и спросил своих всегдашних черствые хлебцы. Мисс Марта только протянула руку к полке, как вдруг на улице раздался рев сирены, грохот колес, и мимо булочной пронеслась пожарная машина.

Покупатель бросился к двери, как сделал бы каждый на его месте. Мисс Марта, осененная блестящей мыслью, воспользовалась этим.

На нижней полке под прилавком лежал фунт сливочного масла, который молочник принес ей минут десять назад. Мисс Марта надрезала ножом черствые хлебцы, вложила в каждый по солдному куску масла и крепко прижала верхние половинки к нижним.

Когда покупатель вернулся от двери, она уже завертывала хлебцы в бумагу.

После коротенькой, но особенно приятной

беседы он ушел, и мисс Марта молча улыбнулась, хотя сердце у нее билось беспокойно.

Может быть, она слишком много себе позволила? А что, если он обидится? Нет, вряд ли! Съедобные вещи не цветы — у них нет своего языка. Сливочное масло вовсе не обозначает нескромности со стороны женщины.

В тот день мисс Марта много думала обо всем этом. Она представляла себе, как он обнаружит ее невинную хитрость.

Вот он откладывает в сторону свои кисти и палитру. На мольберте у него стоит картина с безукоризненной перспективой.

Он собирается позавтракать сухим хлебом с водичей. Разрезает хлебцы и... ах!

Мисс Марта залилась румянцем. Подумает ли он о руке, которая положила в хлебцы масло? Захочет ли...

Звонок на двери злобно тренькинул. Кто-то входил в булочную, громко стуча ногами. Мисс Марта выбежала из задней комнаты. У прилавка стояли двое мужчин. Какой-то молодой человек с трубкой — его она видела впервые; второй был ее художник.

Весь красивый, в сдвинутой на затылок шляпе, взлохмаченный, он сжал кулаки и яростно затряс ими перед лицом мисс Марты. *Перед лицом мисс Марты!*

— Dummkopf! — что есть силы закричал он по-немецки. Потом: — Tausendofner! — или что-то в этом роде.

Молодой человек потянул его к выходу.

— Я не хочу уходить, — свирепо огрызнулся тот, — пока я не сказал ей все до конца.

Под его кулаками прилавок мисс Марты превратился в турецкий барабан.

— Вы мне испортили! — кричал он, сверкая на нее сквозь очки своими голубыми глазами. — Я все, все скажу! *Вы нахальный старый кошка!*

Мисс Марта в изнеможении прислонилась спиной к хлебным полкам и положила руку на свою шелковую блузку — белую, в синий горошек. Молодой человек схватил художника за шиворот.

— Пойдемте! Сказались — и довольны. — Он вытащил своего разъяренного приятеля на улицу и вернулся к мисс Марте.

— Вам все-таки не мешает знать, сударыня, — сказал он, — из-за чего разыгрался весь скандал. Это Блюмбергер. Он чертежник. Мы с ним работаем вместе в одной строительной конторе. Блюмбергер три месяца, не разгибая спины, трудился над проектом здания нового муниципалитета. Готовил его к конкурсу. Вчера вечером он кончил обводить чертеж тушью. Вам, верно, известно, что чертежи сначала делают в карандаше, а потом все карандашные линии стирают черствым хлебом. Хлеб лучше резинки. Блюмбергер покупал хлеб у вас. А сегодня... Знаете, сударыня, ваше масло... оно, знаете ли... Словом, чертеж Блюмбергера годится теперь разве только на бутерброды.

Мисс Марта ушла в комнату позади булочной. Там она сняла свою шелковую блузку — белую, в синий горошек, и надела прежнюю — бумажную, коричневого цвета. Потом взяла притираше из айвовых семечек с бурой и вылила его в мусорный ящик за окном.

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Вор быстро скользнул в окно и замер, стараясь освоиться с обстановкой. Всякий уважающий себя вор сначала освоится среди чужого добра, а потом начнет его присваивать.

Вор находился в частном особняке. Заколоченная парадная дверь и неподстриженный плوش подсказали ему, что хозяйка дома сидит сейчас где-нибудь на мраморной террасе, омываемой волнами океана, и объясняет исполненному сочувствия молодому человеку в спортивной морской фуражке, что никто никогда не понимал ее одинокой и возвышенной души. Освещенные окна третьего этажа в сочетании с концом сезона, в свою очередь, свидетельствовали о том, что хозяин уже вернулся домой и скоро потышит свет и отойдет ко сну. Ибо сентябрь — такая пора в природе и в жизни человека, когда всякий добпорядочный семейства приходит к заключению, что стенографистки и кафе на крышах — тшета и суета, и, ощутив в себе жагу к благопристойности и нравственному совершенству, как ценностям более прочным, начинает поджидать домой свою законную половину.

Вор закурил папиросу. Прикрытый ладонью огонек спички осветил на мгновение то, что было в нем наиболее выдающегося, — длинный нос и торчащие скулы. Вор принадлежал к третьей разновидности. Эта разновидность еще не изучена и не получила широкого признания. Полиция познакомила нас только с первой и со второй. Классификация их чрезвычайно проста. Отличительной приметой служит воротничок.

Если на пойманном воре не удастся обнаружить крахмального воротничка, нам заявляют, что это опаснейший выродок, вконец разложившийся тип, и тотчас возникает подозрение — не тот ли это закоренелый преступник, который в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году выкрал наручники из кармана полицейского Хэннеси и нахально избежал ареста.

Представитель другой широко известной разновидности — это вор в крахмальном воротничке. Его обычно называют вор-джентльмен. Дием он либо завтракает в смокинге, либо расхаживает, переодевшись обойщиком, вечером же приступает к своему основному, гнусному занятию — ограблению квартир. Мать его — весьма богатая, почтенная леди, проживающая в уважабельнейшем Ошеан-Гроув, и, когда его препровождают в тюремную

камеру, он первым долгом требует себе пилочку для ногтей и «Полицейскую газету». У него есть жена в каждом штате и невесты во всех территориях, и газеты сериями печатают портреты жертв его matrimonialной страсти, используя для этого извлеченные из архива фотографии недужных особ женского пола, от которых отказались все доктора и которые получили исцеление от одного флакона патентованного средства, испытав значительное облегчение при первом же глотке.

На воре был синий свитер. Этот вор не принадлежал ни к категории джентльменов, ни к категории поваров из Адовой кухни. Полиция, несомненно, стала бы в тупик при попытке его классифицировать. Ей еще не доводилось слышать о солидном, степенном воре, не проявляющем тенденции ни опуститься на дно, ни залезть слишком высоко.

Вор третьей категории начал крадучись продвигаться вперед. Он не носил на лице маски, не держал в руке потайного фонарика, и на ногах у него не было башмаков на каучуковой подошве. Вместо этого он запасся револьвером тридцать восьмого калибра и задумчиво жевал мятную резинку.

Мебель в доме еще стояла в чехлах. Серебро было убрано подальше — в сейфы. Вор не рассчитывал на особенно богатый улов. Путь его лежал в тускло освещенную комнату третьего этажа, где хозяин дома спал тяжелым сном после тех усад, которые он так или иначе должен был находить, дабы не погибнуть под бременем одиночества. Там и следовало «пошупать» на предмет честной, законной, профессиональной пожизны. Может, попадет немного денег, часы, булавка с драгоценным камнем... словом, ничего сногсшибательного, выходящего из ряда вон. Просто вор увидел распахнутое окно и решил попытаться счастья.

Вор неслышно приоткрыл дверь в слабо освещенную комнату. Газовый рожок был привернут. На кровати спал человек. На туалетном столике в беспорядке валялись различные предметы — пачка смятых банкнот, часы, ключи, три покерных фишки, несколько сломанных сигар и розовый бант. Тут же стояла бутылка сельтерской, припасенная на утро для прояснения мозгов.

Вор сделал три осторожных шага по направлению к столику. Спящий жалобно застонал и открыл глаза. И тут же сунул правую руку под подушку, но не успел вытащить ее обратно.

— Лежать тихо! — сказал вор нормальным человеческим голосом. Воры третьей категории не говорят свистящим шепотом. Человек в постели посмотрел на дуло направленного на него револьвера и замер.

— Руки вверх! — приказал вор.

У человека была каштановая с проседью борода клышником, как у дантистов, которые рвут зубы без боли. Он производил впечатление солидного, почтенного обывателя и был, как видно, весьма желчен, а сейчас влюбавон чрез-

вычайно раздосадован и возмущен. Он сел в постели и поднял правую руку.

— А ну-ка, вторую! — сказал вор. — Может, вы двусмысленный и стреляете левой. Вы умеете считать до двух? Ну, живо!

— Не могу поднять эту, — сказал обыватель с болезненной гримасой.

— А что с ней такое?

— Ревматизм в плече.

— Острый?

— Был острый. Теперь хронический.

Вор с минуту стоял молча, держа револьвера под прицелом. Он глянул украдкой на туалетный столик с разбросанной на нем добычей и снова в замешательстве уставился на человека, сидевшего в постели. Внезапно его лицо тоже искала гримаса.

— Перестаньте корчить рожи! — с раздражением крикнул обыватель. — Пришли грабить, так грабьте. Забирайте, что там на туалет.

— Прошу прощенья, — сказал вор с усмешкой. — Меня вот тоже скрутило. Вам, знаете ли, повезло — ведь мы с ревматизмом старинные приятели. И тоже в левой. Всякий другой на моем месте продырявил бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню.

— И давно у вас? — поинтересовался обыватель.

— Пятый год. Да теперь уж не отвяжется. Стоит только заполнить это удовольствие — пиши пропало.

— А вы не пробовали жир? — гремучей змеи? — с любопытством спросил обыватель.

— Галлонами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, так она восемь раз достанет от Земли до Сатурна, а уж греметь будет так, что заткнут уши в Вальпараисо.

— Некоторые принимают «Пилули Чизельма», — заметил обыватель.

— Шарлатанство, — сказал вор. — Пять месяцев глотал эти дрянь. Никакого толку. Вот когда я пил «Экстракт Финкельхема», делал припарки из «Галаадского бальзама» и применял «Поттовский болеутоляющий пульверизатор», вроде как немного полегало. Только сдается мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в левом кармане.

— Вас когда хуже донимает, по утрам или ночью?

— Ночью, — сказал вор. — Когда самая работа. Слушайте, да вы опустите руку... Не станете же вы... А «Бликерстафский кровочиститель» вы не пробовали?

— Нет, не приходилось. А у вас как — приступами или все время ноет?

Вор присел в ногах кровати и положил револьвер на колено.

— Скачками, — сказал он. — Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей — раза два уже застрял, скрутило на полдороге. Знаете, что я вам скажу: ни черта в этой болезни доктора не смыслят.

— И я так считаю. Потратил тысячу долларов, и все впустую. У вас распухает?

— По утрам. А уж перед дождем — просто мочн нет.

— Ну да, у меня тоже. Стоит какому-нибудь паршнвому облачку величиной с салфетку тронуться к нам в путь из Флориды, и я уже чувствую его приближение. А если случится пройтн мимо театра, когда там идет мелодрама «Болотные туманы», сырость так вопьет-ся в плечо, что его начинает дергать, как зуб.

— Да, ннчем не уймешь. Адовы муки,— сказал вор.

— Вы правы,— вздохнул обыватель.

Вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман.

— Послушайте, приятель,— сказал он, стараясь преодолеть неловкость.— А вы не пробовали оподельдок?

— Чуть!— сказал обыватель сердито.— С таким же успехом можно втнрать коровье масло.

— Правнльно,— согласился вор.— Годнтся только для крошки Минни, когда киска оцарапает ей пальчнк. Скажу вам прямо — дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая сердце выпивка. Послушайте, старнна... вы на

меня не сердчайте... Это дело, само собой, побоку... Одевайтесь-ка, и пойдем выпьем. Вы уж простите, если я... ух ты, черт! Опять схватил, гадока!

— Скоро неделя, как я лишен возможности одеваться без посторонней помощи,— сказал обыватель.— Боюсь, что Томас уже лег и...

— Ничего, вылезайте из своего логова,— сказал вор.— Я помогу вам иацепить что-нибудь.

Условиности и приличия мощной волной всколыхнулись в сознании обывателя. Он погладил свою седеющую бородку.

— Это в высшей степени необычно...— начал он.

— Вот ваша рубашка,— сказал вор.— Ныряйте в нее. Между прочим, один человек говорил мне, что «Растирание Омберри» так починило его в две недели, что он стал сам завязывать себе галстук.

На пороге обыватель остановился и шагнул обратно.

— Чуть не ушел без денег,— сказал он.— Выложил их вчера на туалетный столик.

Вор поймал его за рукав.

— Ладно, пошлн,— сказал он грубовато.— Бросьте это. Я вас приглашаю. На выпивку хватит. А вы никогда не пробовали «Чудодейственный орех» и мазь из сосновых иголок?

СОДЕРЖАНИЕ

Дары волхвов. Перевод Е. Калашниковой	3
Из любви к искусству. Перевод Т. Озерской	5
Фараон и хорал. Перевод А. Горлина	8
Неоконченный рассказ. Перевод М. Лорие	10
Роман биржевого маклера. Перевод М. Лорие	13
Дебют Тильди. Перевод М. Лорие	14
Горящий светильник. Перевод И. Гуровой	17
Маятник. Перевод М. Лорие	21
Русские соборы. Перевод Т. Озерской	23
Пурпурное платье. Перевод В. Маянц	26
Последний лист. Перевод Н. Дарузес	28
Сердце и крест. Перевод М. Урнова	31
Выкуп. Перевод М. Урнова	35
Друг Телемак. Перевод М. Урнова	38
Справочник Гимеия. Перевод М. Урнова	41
Пимиеитские блинчики. Перевод М. Урнова	45
Санаторий на ранчо. Перевод Т. Озерской	49
Яблоко сфинкса. Перевод М. Урнова	55
Пианино. Перевод М. Урнова	62
Принцесса и пума. Перевод М. Урнова	65
Бабье лето Джоисона Сухого Лога. Перевод О. Холмской	68
Елка с сюрпризом. Перевод Т. Озерской	71
Один час полной жизни. Перевод Н. Дарузес	76
Персики. Перевод Е. Калашниковой	78
Пока ждет автомобиль. Перевод Н. Дехтеревой	81
Квадратура круга. Перевод Н. Дарузес	83
Погребок и роза. Перевод Н. Дехтеревой	85
Трест, который лопнул. Перевод К. Чуковского	87
Супружество как точная наука. Перевод К. Чуковского	90
Волшебный профиль. Перевод Н. Дарузес	92
Младенцы в джунглях. Перевод Е. Калашниковой	95
Вожьд Краснокожих. Перевод Н. Дарузес	98
Коловращение жизни. Перевод Т. Озерской	102
Дороги, которые мы выбираем. Перевод Н. Дарузес	105
Чародейные хлебцы. Перевод Н. Волжиной	107
Родственные души. Перевод Т. Озерской	108

О. Генри

Г34

Из любви к искусству: Пер. с англ.— М.: Худож. лит.,
1984.— III с.

В настоящий сборник американского писателя-новелиста О. Генри (1862—1910) вошли избранные рассказы: «Дары волхвов», «Из любви к искусству», «Фарвон и хорал», «Дороги, которые мы выбираем» и др., которые отличаются подлинной любовью автора к «маленькому человеку», выражают веру писателя-романтика в своего героя, в его право на счастье, в его способность победить враждебность и равнодушие капиталистического мира.

ББК 84 7США
И (Амер)

Г 4703000000-414
028(01)-84 КБ-27-25-84

О. ГЕНРИ

ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ

Редактор Т. Блактер

Художественный редактор В. Серебряков

Технический редактор В. Нефедова

Корректоры Н. Ломакина и Н. Макаревич

ИБ № 4116

Сдано в набор 04.05.84. Подписано в печать 23.10.84. Формат 60×84/16. Бумага тип. № 3. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,06. Усл. фронт. л. 4,63. Уч.-изд. л. 15,67. Изд. № 1-1796. Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1-500 000). Знак 2594. Цена 1 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Ордена «Знак Почета» типография издательства
«Московская правда», 123845, ГСП, Москва, Д-22, ул. 1905 г., 7.

